

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

Повесть. Борис Леонидович Пастернак

I

В начале 1916 года Сережа приехал к сестре в Соликамск. Вот уже десять лет передо мною носятся разрозненные части этой повести, и в начале революции кое-что попало в печать.

Но читателю лучше забыть об этих версиях, а то он запутается в том, кому из лиц какая, в окончательном розыгрыше, досталась доля. Часть их я переименовал; что же касается самих судеб, то как я нашел их в те годы на снегу под деревьями, так они теперь и останутся, и между романом в стихах под названием «Спекторский», начатым позднее, и предлагаемой прозой разноречья не будет: это – одна жизнь. Собственно, приехал он не в Соликамск, а в Усолье. Город белел и трудился на другом берегу, и с заводского берега, из кухни заново отремонтированной докторовой квартиры, с первого же дня очень легко было понять, чем он стоит, и для чего, и с какой стати. Крутой торговый камень собора и казенных зданий мерцал и пасся, шарахнутый врассыпную подрывными припасами сытости, порохом довольства. Сводя в опрятные квадраты это заречное зрелище руки Грозного и Строгановых, оконца у доктора сияли так, точно именно в честь этой дали было сбито и мешочками сливочной пенки развезено по дереву свежее масло малярных белил. Так оно, впрочем, и было, – с худых, прорешливых палисадников конторской слободы нечего было взять.

По кустам, воронам в подмогу, ковырялась оттепель. В воде черных загор стояли одинокие звуки. Свистки маневренного паровика на Веретьи сменялись голосами игравших детей. Таратор топоров с ближайшего эксплуатационного квартала мешал вслушаться в смутную органную возню далекого завода. Она скорее воображалась, внушенная видом его пяти дымовых шапок, нежели действительно могла быть слышима. Ржали лошади, лаяли собаки. Щепотинкой на нитке повисал, оборвавшись, крик силлого петушка. А с далекого притока, где из-под сугробов торчали сонные усы спеленутого лозняка, исподволь набегала задорная скоропалка динамо-машины. Звуки были скудны и казались пьяными, потому что плавали по колеям. Между ними торжественно и разгульно разверзались умолчания зимней равнины. Она таила где-то невдалеке и, по здешним уверениям, чуть ли не в соседней деревне первые отроги Урала. Она их прятала, как дезертиров.

Брат столкнулся с сестрой на ее выходе, – она собралась куда-то по хозяйству. Позади нее стояла рыластая девочка в криво стянутом полушубке. Сестра швырнула кошелку на подоконник, и, пока они обнимались и шумели, девочка, с чемоданом в подхват, болтая вихлявыми валенками, вихрем понеслась в глубь комнат, на крену, как пущенный обруч, обегая стол в столовой. Скоро под градом сестриних расспросов Сережа стал казанским мылом неловко и отвычно отмывать грязные следы двухсуточной бессонницы, и тут, с полотенцем на плече, сестра увидела, как он вырос и исхудал. Потом он побрился. Самого Калязина в этот служебный час дома не было, а его бритвенница, принесенная Наташей из спальни, смутила Сережу полнотою набора. В светлой столовой благодатно пахло колбасой. В черный лак фортепьян разъяренно протягивались кулачки тринадцатипалой пальмы, и ломилась, грозя высадить доску, медная ярь привинченных подсвечников. Поймав взгляд Сережи, скользнувший по туалетно-молочным отливкам клеенки, Наташа сказала:

– Это от Пашина предшественника. Обстановка вся казенная. – Потом, замаявшись, прибавила: – Страшно интересно, как ты найдешь детей. Ты ведь их знаешь только по карточкам.

Их с минуты на минуту ждали с гулянья.

Он принял за чай и, подчиняясь Наташе, выложил ей, что смерть матери потрясла его полной неожиданностью. Скорей он ее страшился тем летом, когда, как он выразился, она действительно была при смерти и он туда ездил.

– Как же, перед экзаменами. Мне писали, – вставила Наташа.

– Ах, да! – подхватил он, чуть не поперхнувшись. – Ведь я и в самом деле их сдавал! Чего стоило их сдать, а ведь университет как тряпкой стерло.

Продолжая уминать клеклый мякиш калача и отхлебывая из стакана, он рассказал, как приступил было к подготовке весной, вскоре после ее московского гощенья, но пришлось бросить: болезнь матери, поездка в Питер и многое еще чего (тут он снова все это перечислил). Но потом за месяц до зимней сессии одумался, и всего труднее было с постоянными отвлечениями, с детства вошедшими в навык. Его обидело, что в словах о «десяти талантах, что хуже одного, да верного», сестра не признала поговорки, пущенной по семье покойным отцом и нарочно про него.

– Ну, как же? – спеша замаять неловкость, спросила Наташа.

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

– Чего – как же? Гнал день и ночь, вот и все. – И он стал уверять, что никакое наслаждение не сравнится с такой гонкой, причем назвал ее экзальтацией недосуга. По его словам, только мозговой этот спорт и помог ему справиться с природными искушениями, главное же – с музыкой этой, которая с тех пор и в загоне. И чтобы сестра не успела опять чего вставить, он быстро и без видимого перехода сообщил, что Москва встретила войну в разгаре строительной горячки, и сперва работы продолжались, а теперь кое-где и вовсе приостановлены, так что много домов останутся навсегда недостроенными.

– Отчего же навсегда? – возразила она. – Разве ты ей конца не чаешь?

Но он отмолчался, полагая, что тут, как и везде, разговор о войне, то есть о полной непредставимости мира, будет не однажды и Калязин, вероятно, главным по этой части разливальщиком.

Вдруг ей бросилась в глаза нездоровая догадливость, с которой Сережа все чаще и удачнее стал предупреждать ее любопытство. Тогда она поняла, как он измучен, и, бессознательно спасаясь от этого чтенья в мыслях, предложила ему раздеться и соснуть. Тут им неожиданно помешали. Раздалось слабенькое дребезжание звонка. Полагая, что это дети, Сережа сунулся было за сестрой, но, отмахиваясь и что-то бормоча, Наташа скрылась в спальню. Сережа подошел к окну и, заложа руки за спину, уставился глазами в пространство.

В состоянии победоносной рассеянности он пропустил мимо ушей неистовства, начавшиеся рядом. Надрываясь из последних сил и приложив руку к трубке, Наташа вдальблывала какие-то любезности в те самые просторы, что стлались перед братом. К бесконечному забору, тянувшемуся в конце слободы, равномерно и увесисто уходил человек, замечательный лишь тем, что кругом не было ни души и никто ему не попадался навстречу. Следя без смысла за удалявшимся, Сережа мысленно увидел лесистый кусок недавно совершенного пути. Он увидел станцию, пустой буфет с досками на козлах вместо стойки, горы за семафором и прохаживающихся, бегающих взапуски и борющихся на той бугристой снеговине, что отделяла холодные вагоны от горячих пирогов. В это время шагавший миновал забор и, свернув за него, пропал из виду.

Между тем в спальне произошли перемены. Крик по телефону кончился. Облегченно откашливаясь, Наташа осведомлялась, когда будет готова кофточка, и объясняла, как ее шить.

– Ты догадался? – сказала она, войдя и уловив внимательность братнина взгляда. – Это – Лемох. Он тут по делам своего завода и вечером собирается к нам.

– Какой Лемох? Зачем ты кричишь? – вполголоса перебил ее Сережа. – Можно было предупредить. Когда громко празднословишь, точно один в квартире, а за дверь человек работает, ему обидно. Надо было сказать, что у тебя портниха.

Недоразуменье сперва пошло в рост, а потом сполна разъяснилось. Оказалось, что никого в спальне нет, а когда Наташу разъединили с собеседником, еще более отдаленным, она разговорилась с телефонисткой, выключившей линию и сидевшей далеко в конторе, на другом конце поселка.

– Милейшая девушка, – прибавила Наташа. – Между прочим шьет: жалованья не хватает. Она тоже будет. Хотя неизвестно, к ней с фронта приехали.

– Знаешь, – неожиданно объявил Сергей, – я, пожалуй, и правда прилягу.

– Вот и хорошо, – быстро согласилась сестра и повела его в комнату, с самого Сережина письма для него приготовленную. – Удивительно, как тебя освободили, – заметила она на ходу, вполборота оглядывая брата, – ведь ты несколько не хромаешь.

– Вот, представь, и ведь без возражений, всей комиссией. Что ты делаешь? – воскликнул он, увидев, что сестра собирается ему стлать и стягивает с кровати покрывало. – Оставь, я – одевшись. Не надо.

– Ну, как знаешь, – уступила она и, оглядев по-хозяйски комнату, сказала с порога: – Спи вволю и не стесняй себя; я позабочусь, чтобы не шумели;

в крайности мы пообедаем одни, а тебе согреют. А вот что ты Лемоха забыл, так это с твоей стороны непростительно; очень-очень интересный человек и достойный и очень тепло и правильно о тебе отзывался.

– Но что же мне делать? – взмолился Сергей. – Никогда не видал и в первый раз слышу.

Ему показалось, что и дверь за сестрой затворилась с тихой укоризной. Он отстегнул помочи и, присев на кровать, стал распускать шнурки на ботинках. С тем же поездом на короткую побывку в Веретье приехал отпускной матрос с миноносца «Новик». Звали его фардыбасов. Он отнес прямо со станции свой сундучок в контору, чмокнулся с родственницей, там служившей, и тут же, круша лед и разбрасывая воду, крупным шагом направился к Механическому. Тут он произвел фурор своим появлением. Однако, не найдя в обступившей его толпе того, кого шел добывать, и узнав, что Отырганьев теперь работает на одном из новых, недавно поставленных производств, он тем же шагом повалил на Второй подсобный, который

вскоре и отыскался за складскими заборами, в вилке узкоколейки. Она гаденькой каемкой ползла по краям срывчатой низины и пугала своей видимой беззащитностью, потому что у лесной опушки вдоль нее похаживал часовой с ружьем. Сбежав с дороги, Фардыбасов полетел полем вниз, перемахивая с бугра на бугор и скрываясь в завялых яминах летнего происхождения. Потом он стал подыматься на изволок, где стоял деревянный барак, отличавшийся от обыкновенного сарая только тем, что забрасывал частыми паровыми пышками, как снежками, тишину, здесь царившую.

– Отрыганьев! – подбежав к порогу и хлопнув ладонью по верее, гаркнул отпускной в глубину строения, где несколько мужиков переволакивали с места на место какие-то кули и бушевал, одним лишь этим тесом, как чехлом, охраненный от поля, здоровенный двигатель с застывшим в молниеносном полете маховиком. Под ним плясал, чмякал стержнями и приседал, проваливался под пол и выбрасывал назад вывихнутую голяшку сумасшедший рычаг шатуна, одной этой дрыготней державший в страхе все сооруженье.

– Каких соков дерьмо гонишь? – с первого же приветствия спросил приезжий колченогого увальня, который вырос у двери, впривалку с сухой ноги на здоровую приковыляв от машины.

– Еремка! – только и успел выпалить подошедший, сразу хваченный приступом горького, крупной крошки, махорочного кашля. – Хролофор, – пропитым до чахотки голосом прогорланил он и только мотнул рукой, зайдясь пароксизмом нового скрипучего удушья.

– Смолосады, подумаешь! – любовно усмехнулся матрос, дожидаясь конца приступа. Но не дождался, потому что в это время двое из татар, отделясь от остальных, быстро вскарабкались друг за другом по приставной лестнице наверх и стали сыпать известь в мешалку, отчего поднялся невообразимый грохот и все помещенье заволочло клубами белой раскраивающейся пыли. И вот в этом облаке Фардыбасов принялся орать, что его время писарь съел, – считанные, дескать, дни, – и стал тут же подбивать приятеля на то самое, за чем ломил сюда без дороги со станции, то есть на охоту на весь свой отпускной срок.

А по прошествии некоторого времени, проведенного в любовном глумленьи над подучетными, военнообязанными и заводами, работающими на оборону, как уходить, Фардыбасов рассказал, как недавно, под самое Рождество, они ночью на выходе из финского напоролись на минное поле германца и взорвались, что было враньем и бахвальством только в личностях, потому что рассказчик был с «Новика», а подымал хобота, рыл пучину и опускался, заводя на себе водяную петлю дикой глубины и тугости, другой миноносец отряда.

Темнело, подмораживало, в кухню подавали воду. Приходили дети, на них шикали. Временами извне к дверям подкрадывалась Наташа. Но Сереже не спалось, он только притворялся спящим. За стеной, на стороне, всем домом перебирались из сумерек в вечер. Под вещевую «Дубинушку» полов и ведер Сережа думал, как все будет неузнаваемо при огне, в конце передвиженья. Точно он в другой раз приедет, и притом выпавшись, что всего важнее. А предвкушаемая новизна, уже кое в чем вызванная лампами к существованию, копошилась и погрохатывала, переходя от воплощенья к воплощенью. Она детскими голосками спрашивала, где дядя и когда он опять уедет, и, наученная делать страшные глаза, сама уже затем проникновенно шикала на ни в чем не повинную Машку. Она стайей материнских увещаний носилась в суповом пару, шлепая крыльями по передникам и тарелкам, никакие препирательства ей не помогли, когда ее снова укутали, кропотливо и раздраженно, и стали выпроваживать на новую прогулку, торопя из сеней, чтобы не напускать в дом холоду. И не скоро, многим позднее, воплотилась она в басистое вторженье Калязина и его палки, и его глубоких, за десять лет брака все еще не поддававшихся никакому вразумленью, калаш.

Чтобы примануть сон, Сережа упорно старался увидеть какой-нибудь летний полдень, первый, какой подвернется. Он знал, что если бы такой образ ему явился и он его удержал, виденье склеило бы ему веки и храпом бросилось бы в ноги и в мозг. Но он лежал и давно уже держал зрелище июльского жара перед самым носом, как книжку, а сон все не жаловал. Случилось так, что лето подобралось четырнадцатого года, и это обстоятельство нарушило все расчеты. На это лето нельзя было глядеть, всасывая заволоченными глазами усыпительную явственность, а приходилось думать, переносясь от воспоминанья к воспоминанью. Та же причина разлучит и нас надолго с усольской квартирой.

Итак, именно отсюда давались порученья Наташе, когда с их списком, слепым от мелких приписок и частого перечеркиванья, она бегала по Москве в свой приезд весной тринадцатого года. Она останавливалась у Сережи, и теперь по запаху строевого леса, по гутору окружающей тишины и по состоянию дорог в поселке он воображал, что уже видит в лицах, кого одолжала сестра, по целым дням пропадая из комнаты на Кисловке. Служащие действительно жили дружно, одной семьей. Ее

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

поездка тогда была даже оформлена в служебную, с мужа на жену переписанную командировку. Такой вздор был мыслим только потому, что все звенья отвлеченной цепи, кончавшейся суточными и прогонными, были живыми людьми, поголовно между собою породненными той теснотой, в какой всем им, как на островке, приходилось жаться на своей разнообъемной грамотности среди трехтысячеверстных повально неграмотных снегов. Пользуясь оказией, дирекция облекла ее даже полномочьями на уяснение каких-то, впрочем, пустяковейших и легко разрешимых по почте неулаженностей, почему Наташа и хаживала на Ильинку, придавая этим посещениям очень двойственное обличье. Она заключала эти прогулки в подчеркнуто комические кавычки, в то же время давая понять, что в кавычки ею заключены дела министерской важности. А в свободные часы, и больше по вечерам, она навещала своих и мужниных друзей былой московской поры. С ними она ходила по театрам и концертам. Подобно отлучкам в правление, она и этим развлечениям сообщала видимость дела, но только такого, которое никаких кавычек не допускало. Это оттого, что с людьми, с которыми она теперь делила посещение Художественного и Корша, ее связывало когда-то большое прошлое. Доступное, при желаньи, восхищенным пониманиям при каждом новом перетряхиваньи стариной, оно теперь оставалось единственным доводом их взаимного друг до друга касательства. Они встречались, крепко спаянные его давностью, и одни стали врачами, другие инженерами, третьи же пошли по адвокатуре. Те, которым не пришлось возобновить временно прерванное ученье, работали в «Русском слове». Все обзавелись семьями, у всех, кроме определившихся по литературной части, были дети. Не все, разумеется, были похожи друг на друга, и жили никак не кучею, а врозь, кто на какой улице, и, отправляясь к одним, Наташа с Кисловки выходила к остановке трамвая на Воздвиженку, а собравшись к другим, шла пешком по Газетному, Камергерскому и так далее, пересекая улицы одну другой кривее, жилистей и толкучей.

Надо также сказать, что, за исключением одного раза в Георгиевском переулке, куда надо было завернуть за друзьями по дороге на сборный концерт с чтением Чехова и певцами, в этот Наташин наезд между знакомыми о прошлом не говорилось. Да и в этот раз, едва Наташа развспомнилась, обнаружив в туалетной шкатулке приятельницы красный галстук времен Высших женских курсов, как последняя, которую она же и поторапливала, справилась с нарядом, и, отвалив от зеркала, где уже стали колыхаться воскресенные образы, они втроем с мужем приятельницы кубарем выкатились на зеленый, зеркалом холодевший воздух весеннего вечера. О прошлом не говорили и потому, что в глубине души все они знали, что революция будет еще раз. В силу самообмана, простительного и в наши дни, они представляли себе, что она пойдет как временно однажды снятая и вдруг опять возобновляемая драма с твердыми актерскими штатами, то есть с ними со всеми на старых ролях. Заблужденье это было тем естественнее, что, глубоко веря во всенародность своих идеалов, они были все же такого толка, что считали нужным эту уверенность свою поверять на живом народе. И тут, убеждаясь в полной, до известной поры, бытовой причудливости революции на широкий, рядовой русский взгляд, они могли справедливо недоумевать, откуда бы взяться еще новым охотникам и посвященным в таком обособленном и тонком деле.

Как все они, Наташа верила, что лучшее дело ее юности только отложено и, как пробьет час, ее не минует. Этой верой объяснялись все недостатки ее характера. Этим объяснялась ее самоуверенность, смягченная лишь полным Наташиным неведением о таком своем изъяне. Этим также объяснялись те черты беспредметной праведности и всепрощающего понимания, которые неистощимым светом озаряли Наташу изнутри и были ни с чем не сообразны.

По родне она узнала, что у Сережи что-то такое подеялось. Надо заметить, что ей было известно все, начиная от имени Сережиной избранницы вплоть до того, что Ольга замужем и в счастливом браке с инженером. Она ни о чем не стала расспрашивать брата. Поступивши так из общелюдского приличия, она, однако, тут же, как светлая личность, себе это вменила в особую кастовую заслугу. Она ни о чем не стала расспрашивать Сережу, но, вся дыша сознанием прямой подведомственности его истории тому вдумчивому и чуткому началу, которое собой олицетворяла, ждала, чтобы, не снеся замкнутости, он излился перед нею сам. Она притязала на его внезапную исповедь, ожидая ее с профессиональным нетерпением, и кто осмеет ее, если примет в расчет, что в братниной истории имелись и свободная любовь, и яркая коллизия с житейскими цепями брака, и право сильного, здорового чувства, и, бог ты мой, чуть ли не весь Леонид Андреев. Между тем на Сережу пошлость под запрудой действовала хуже глупости, безудержной и искрометной. И когда он раз не выдержал, то его уклончивость сестра истолковала по-своему, а из его мешковатых недомолвок узнала, что у любящих все расстроилось. Тогда чувство компетенции только возросло у ней, потому что к увлекательному инвентарю, приведенному выше, прибавилась и обязательная, по ее понятиям, драма. Потому

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

что, как ни далек был ей брат, опоздавший родиться на пять лет с месяцами против ее поколенья, были глаза и у ней, и она видела, да и не ошибалась, что никакие проказы и шалости Сереже не присущи. И только слово драма, разнесенное Наташею по знакомым, было не из братнина словаря.

II

Много-много чего оказалось вдруг за плечами у Сережи, когда с последнего благополучно сданного экзамена он, точно без шапки, вышел на улицу и, оглушенный случившимся, взволнованно осматрелся кругом. Молодой извозчик, вскинутым сапожищем распыливая кафтан, сидел боком на козлах, исподволь поглядывая под лошадь, и, всецело полагаясь на беспамятную чистоту мартовского воздуха, равнодушно караулил окрик с любого конца большой площади. Подневольным слепком с его вольного ожиданья помаргивала в оглоблях серая в яблоках кобыла, как бы самим рокотом мостовых сильно на вынос вложенная в хомут, за дугу. Все кругом подражало им. Орленная чистым бульжником, круглая мостовая походила на гербовый, тумбами и фонарями уставленный документ. Дома стояли, возведенные на пустой предвесенней настороженности, как на упругом фундаменте из четырех резиновых шин. Сережа оглянулся. За оградой, в одном из серейших и самых слабостойных фасадов, праздно и каникулярно тяжелела дверь, только что тихо затворившаяся за двенадцатью школьными годами. Именно в эту минуту ее замуровали, и теперь навсегда. Он пошел домой. Щемящей студености холостая заря нежданно ломанула по Никитской. Камень свело мерзлым пурпуром. Он совестился глядеть на встречных. Все случившееся было написано на лице у него, и прыгающая улыбка величиной со всю, того часа, московскую жизнь, владела его чертами.

На другой день он отправился к тому из своих приятелей, который, учительствуя в одной из женских гимназий, знал по службе, что делается в других. Зимой он как-то говорил Сереже об освобождающейся на весну вакансии словесника и психолога в частной гимназии на Басманной.

Сережа терпеть не мог словесности и школьной психологии. Кроме того, он знал, что в женской гимназии ему не служить, потому что пришлось бы изойти среди девочек страшным паром без всякого для кого-нибудь ведома и пользы. Но, вконец измотанный экзаменационными волнениями, он теперь отдыхал, то есть позволял дням и часам переставлять его, куда им вздумается. Точно кто кокнул тогда под университетом банку с вареньем из вербы, и, увязнув вместе со всем городом в горькошерстой ягоде, он отдался поколыхиванью ее тугих, оловянных складок. Вот каким образом и побрел он в один из переулков Плющихи, где проживал в номерах названный приятель.

Номера обложались от остального света огромным двором для извозчиков. Вереница пустых пролеток подымалась к вечернему небу костяным хребтом какого-то сказочного позвоночного, только что освежеванного. Здесь сильнее, чем на улице, чувствовалось присутствие новой дали, голой, сердобольной, и было много навоза и сена. Особенно же много было тут той именно сладкой серости, на волнах которой прибыл сюда Сережа. И вот как подмыло его в дымные номерные разговоры, подпертые с улицы троерукием керосиновым фонарем, так понесло в следующие же сумерки на Басманную, в оловянные разговоры с начальницей, под которыми топырилось ветвистое карканье большого запущенного сада, полного частной женской серебристо-мышьиной и кое-где уже разобранный граблями земли.

Как вдруг, неизвестно в честь чего, по одному из оловянных изворотов последней недели он очутился во фрестельнском особняке воспитателем хозяйского сына и тут остался, отряся олово с ног своих. И неудивительно. Его взяли на всем готовом, предложив сверх того оклад вдвое больше учительского, огромную трехконную комнату об стену с учениковой и полное пользование досугом, какой ему заблагорассудится для себя отвести без ущерба для занятий с воспитанником. Так что разве только не подарили ему всего суконного фрестельнского дела, а то никогда еще в жизни не случилось ему налегке, в мягкой шляпе (он получил большой задаток), от чаю и книг, прямо с мрамора попадать в булочный вар солнечного переулка, парюю кривых тротуаров бодро несшегося под уклон на площадь, прятавшуюся внизу, за поворотом. Это было в Самотеках, и несмотря на малую прохожесть околотка, у Сережи в первую же прогулку случилось две встречи. Первым, и по другому тротуару, прошел молодой человек из бывших на памятном вечере у Бальца. Их было там два брата, и старший был инженер, а младший говорил, что по окончании коммерческого ему служить, и не знал, идти ли вольноопределяющимся или же по жребью. Теперь он был в форме

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
вольноопределяющегося, и как раз то, что он был в солдатской форме, так стеснило Сережу, что он только поклонился прошедшему, а не остановил его и не перешел через дорогу. Не сделал того и вольноопределяющийся, потому что ему передалось через дорогу Сережино стеснение. К тому же Сережа не знал, как фамилия братьев, потому что их друг другу не представили, и он только помнил, что старший – очень уверенный в себе человек и, вероятно, удачник, а младший молчаливее и гораздо милее.

Другая встреча произошла на одном тротуаре. На него налетел добродушный толстяк, редактор одного из петербургских журналов, Коваленко. Он знал Сережины работы, и одобрял их, и, между прочим, собирался при помощи Сережи и нескольких других, ранее облюбованных причудников обновлять свое начинание. Об этом вливании живых сил и прочей чепухе он говорил с неизменной усмешкой. Она и вообще была ему свойственна сверх меры, потому что повсюду ему мерещились смешные положения, и это иронией он себя от них ограждал. Уклоняясь от Сережиных любезностей, он спросил, чем тот в данное время занят, и, с двухэтажным фрестельским особняком на языке, Сережа вовремя его прикусил, быстро соврав на всякий случай, что увлечен новой повестью. И так как Коваленко обязательно должен был его спросить о замысле, то он тотчас же в уме принялся ее сочинять.

Но Коваленко этого вопроса не задал, а уговорился встретиться с Сережей через месяц, в следующий свой наезд в Москву, и, безо всякой расстановки что-то быстро лопоча про друзей, в полупустующей квартире которых останавливается, быстро записал на отрывном листке их адрес. Сережа принял его не глядя и, сложив вчетверо, сунул в карман жилета. Ироническая улыбка, с которой все это проделал Коваленко, ничего Сереже не сказала, потому что она была от говорившего неотделима.

Расставшись со своим доброхотом, он в обход направился в особняк, чтобы не идти с человеком, беседа с которым закончилась так кругло и естественно. Между прочим, он тут же подивился ветру, сразу поднявшемуся в его голове. Он не заметил того, что это не ветер, а продолжение несуществующей повести, заключающееся в постепенном улетучивании встречи и адреса, и всего случившегося. Он также не знал, что сюжетом ей служит его бросающаяся мыслями умиленность; умилен же он тем, что кругом так хорошо и что ему так повезло с экзаменами, со службой и со всем на свете.

Его поступление к фрестельнам совпало с временем, когда особняк был весь в переменах. Часть их произошла до Сережи, часть еще предстояла. Незадолго перед тем супруги отссорились, наконец, полным на всю жизнь итогом и зажили разными этажами. Половину низа, через сенную площадку, направо от детской и Сережиной половины, занял хозяин. Хозяйка раскатилась по всему верху, где кроме трех ее комнат, не считая гостиной, были еще большая двухсветная зала с помпейским атриумом и столовая с прилегавшей к ней буфетной.

Весна в тот год подошла рано и уже клубилась горячими сдобными полднями. Она на всех парах обгоняла календарь и давно уже побуждала к летним сборам. У фрестельных было именье в Тульской губернии. Хотя покамест особняк только отдувался проветриваньем сундуков и чемоданов по жарким утрам, но с парадного уже прибывали дамы, матери семейств, кандидатки в нынешние дачницы. Старых съемщиц встречали как дорогих покойниц, чудесно возвращенных родне, с новыми толковали о каменных флигелях и деревянных дачах и еще в вестибюле на прощанье долбили о прославленных особенностях алексинского воздуха, необыкновенной какой-то сытности, и об окских красотах, которыми, сколько их ни хвали, все равно не нахвалиться. Все это, впрочем, было истинною правдой.

А на дворе выколачивали ковры, глыбами нутряного сала стояли облака над садом, и клубы щелкучей пыли, садясь на жирное небо, сами, казалось, заряжали грозою воздух. Но по тому, как, утирая лицо, поглядывал на небо дворник, весь в ковровом сору, точно в волосяной сетке, видно было, что дождя не будет. В люстриновом пиджаке взамен фрака, с колотушкой под мышкой проходил через вестибюль во двор лакей Лаврентий. И, видя все это, вдыхая запах нафталина и ловя мимоходом обрывки дамских разговоров, Сережа не мог отделаться от чувства, будто особняк уже снаряжился в путь и вот-вот поднырнет под горький, мокро-трепещущий, знойно-лавровый березовый шатер. Кроме всего изложенного камеристка госпожи фрестельн, не заговаривая пока еще о расчете, собиралась уходить и, приискивая себе место, отлучалась без разбору во все дни, выходов от невыходных не отличая. Звали ее Анна Арильд Торнскьольд, а в доме, для краткости, – миссис Арильд. Она была датчанка, ходила во всем черном, и видеть ее в положениях, в какие ее часто ставили обязанности, было тяжело и странно. Именно так, в духе гнетущей странности, она себя и держала, широкой походкой в широкой юбке пересекая залу по диагонали, с высокой прической узлом, и сочувственно, как сообщница, улыбалась Сереже.

Таким образом, незаметно настал день, когда, обожаемый учеником и состоя в задушевной дружбе с хозяевами, – относительно которых только нельзя было решить, кто милее, потому что, заменяя этим уничтоженную связь, они врозь друг друга перед Сережей оговаривали, – с книгой в руке, предоставив питомцу гоняться по двору за кошкой, он перешел со двора в сад. Дорожки, как сором, были затрясены обившейся сиренью, и только на теневой стороне доцветало еще два-три куста. Под ними усердно писала, положив локти на стол и склонив голову набок, миссис Арильд. Ветка в пепельных четырехгранниках, чуть покачиваемая лиловым бременем, старалась заглянуть из-за затылка пишущей в писанье, но без пользы. Писавшая заслоняла письмо и корреспондента от всего мира широким, трижды скрученным узлом своих невесомых светло-каштановых волос. На столе вперемежку с рукодельем была разложена вскрытая почта. По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака. Оно их охлаждало и само было как серая сталь. Заслышав чужие шаги, миссис Арильд сперва тщательно осушила промокашкой написанное, а потом спокойно подняла голову. Рядом с ее скамейкой стоял железный садовый стул. Сережа опустил на него, и между ними по-немецки произошел следующий разговор:

– Я знаю Чехова и Достоевского, – обвив руками спинку скамейки и прямо глядя на Сережу, начала миссис Арильд, – и пятый месяц в России. Вы хуже французов. Вам надо наделить женщину какой-нибудь скверной тайной, чтобы поверить в ее существование. Точно на законном свету она нечто бесцветное, вроде кипяченой воды. Вот когда она скандальной тенью вскочит откуда-нибудь изнутри на ширму, тогда другое дело, об этом силуэте уже не спорят, и ему нет цены. Я не видала русской деревни. А в городах ваша падкость к закоулкам показывает, что вы живете не своей жизнью и, каждый по-разному, тянетесь к чужой. Не то у нас в Дании. Пойдите, я не кончила...

Тут она отвернулась от Сережи и, заметив на письме ворох осыпавшейся сирени, заботливо ее сдула. Спустя мгновение, справившись с какой-то непонятной заминкой, она продолжала:

– Прошлой весной, в марте, я потеряла мужа. Он умер совсем молодым. Ему было тридцать два года. Он был пастором.

– Послушайте, – все-таки успел перебить ее Сережа по-заготовленному, хотя теперь хотел сказать уже совсем не то, – я читал Ибсена и вас не понял. Вы заблуждаетесь. Несправедливо по одному дому судить о целой стране.

– Ах, так вы вот о чем? Вы о фрестельнах? Хорошего же вы мнения обо мне. Я дальше от таких ошибок, чем вы, и сейчас вам это докажу. Догадались ли вы, что они евреи и только это от нас скрывают?

– Какой вздор! Откуда вы это взяли?

– Вот видите, как вы ненаблюдательны. А я в этом убеждена. Оттого, может быть, я и ненавижу ее так непобедимо. Но не отвлекайте меня, – с новым жаром начала она, не дав Сережке вовремя заметить, что по отцу эта ненавистная кровь течет в нем самом, между тем как в особняке этим и не пахнет, вместо чего, и опять по-заготовленному, он успел все-таки вставить, что все ее мысли о сладостыби – живой Толстой, то есть самое русское из всего, что достойно этого званья.

– Не в этом дело, – спеша пресечь спор, нетерпеливо отрезала она и быстро пересела поближе к Сереже, на край скамейки. – Послушайте, – взяв его за руку, проговорила она в сильном возбуждении. – Вы состоите при Гарри, но я уверена, что вас не заставляют обмывать его по утрам. Или еще бы вам предложили делать старику ежедневные обтирания.

От неожиданности Сережа упустил ее руки.

– Зимой в Берлине ни о чем таком не было ни слова. Я ходила договариваться с ней в отель «Адлон». Я нанималась в компаньонки, а не в горничные, не правда ли? Вот я сижу перед вами – здоровый, рассудительный человек, – вы согласны? Но не отвечайте пока. Место было в далекий отъезд, в неизвестность. И я согласилась. Ясно ли вам, как меня обошли? Я не знаю, чем она мне приглянулась. С первого взгляда я ее не разобрала. И потом ведь все это родилось по ту сторону границы, за Вержболовом... Нет, погодите, я не кончила. Я возила Арильда в Берлин на операцию. Он скончался у меня на руках, я там его похоронила. У меня нет родни. Я сейчас сказала неправду. Есть, но об этом как-нибудь потом. Я была в ужасном состоянии и совсем без средств. И вдруг – ее предложение. Я о нем прочла в газете. И – по какой случайности, если бы вы знали!

Она отодвинулась на середину скамьи, сделав Сереже неопределенный знак рукою. По стеклянной галерее, соединявшей особняк с кухней, прошла госпожа Фрестельн. За нею следовала экономка. Сережа тут же раскаялся, что недостойным образом истолковал движение миссис Арильд. Она не предполагала ни от кого таиться.

Наоборот, возобновив разговор с ненатуральной поспешностью, она повысила голос и внесла в него ноту насмешливого высокомерья. Но госпожа Фрестельн их не слышала.

– Вы обедаете наверху, с ней и с Гарри и с гостями, когда бывают гости. Я сама, собственными ушами, слышала, как в ответ на ваше недоумение, почему меня нет за

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

столом, вам сказали, что я больна. И правда, я часто страдаю мигренью. Но потом, помните, вы раз как-то после десерта куролесили с Гарри, – не кивайте, пожалуйста, так радостно: дело ведь не в том, что вы этого не забыли, а в том, что, когда вы вбежали в буфетную, я чуть со стыда не сгорела. Вам же объяснили, будто обедать в углу, за дверью, в обществе экономки (а ей действительно так больше нравится), пожелала я сама. Но это пустяки. Каждое утро мне приходится, как ребенка, принимать из ванны в простыни эту трепещущую драгоценность и потом до изнеможенья растирать тряпками, щетками, пемзой и уж, право, не знаю чем. И ведь я не все могу назвать, – неожиданно тихо заключила она и, вся в краске, переведя дыхание, как после бега, утерла платком разгоревшееся лицо и повернула его к собеседнику.

Сергея молчал, и по его страдальческому виду она догадалась, как глубоко в него все это запало.

– Не утешайте меня, – попросила она и поднялась со скамьи. – Но я не то хотела сказать. Я говорю по-немецки с неохотой. В минуту заслуженной вами сердечности я буду к вам обращаться по-другому. Нет, не по-датски. *We shall be friends, I'm sure*[1].

И опять Сергей ответил не так, как хотел, и сказал *gut*, а не *well*, не предупредив ее, что понимает по-английски, но то небольшое, что знал, позабыл. Она же, продолжая говорить по-английски, горячо и просто напоминала ему (и вслед за тем гораздо холоднее перевела по-немецки), чтобы он не забывал того, что она сказала о ширмах и закоулках. Что она северянка и человек верующий и не выносит вольничанья, что это – просьба и предостережение и чтобы все это он имел в виду.

III

Стояли душные дни. Сергей по Нуруку освежал свои скудные и запущенные познания по-английски. В обеденные часы он подымался с воспитанником в залу, где они топтались в ожидании выхода госпожи Фрестельн. Пропустив ее вперед, они следом за ней проходили в столовую. Часто ее минут на пять, на десять предваряла миссис Арильд. Сергей громко беседовал с датчанкой и при появлении хозяйки с нескрываемым сожаленьем расставался с собеседницей. Шестивие из трех лиц, открывавшееся госпожой Фрестельн, направлялось в столовую, а камеристку, двигавшуюся по тому же направлению, с постепенным приближеньем к двери отмывало все более и более влево. И они расходились.

С некоторых пор госпоже Фрестельн пришлось свыкнуться с упорством, с каким Сергей звал столовую малой буфетной, а комнату рядом, где разнимали пулярдок и раскладывали по тарелкам мороженое, – большой. Но она постоянно ждала от него странностей, считая его прирожденным чудачком, хотя и не понимала половины его шуток. Она доверяла воспитателю и в нем не обманывалась. У него и теперь не было прямого зла на нее, как и ни против кого на свете. В живом лице он умел ненавидеть только своего противника, то есть незаурядно вызывающую, легкую победу над жизнью, с обходом всего труднейшего в ней и драгоценнейшего. А людей, годящихся в олицетворенье такой возможности, не столь уж много.

В послеобеденные часы вниз по лестнице съезжали целые подносы битых и ломаных гармоний. Они скатывались и разлетались неожиданными взрывами, более резкими и разительными, чем случаи официантской неловкости. Между этими мятежными паденьями залегали версты ковровой тишины. Это наверху, за несколькими парами подбитых сукном и плотно притворенных дверей, Арильд на рояле разыгрывала Шумана и Шопена. В такие мгновенья невольнее, чем в другие, смотрелось в окно. Но перемен там не замечалось, небо не трогалось изливяньями. Оно знойным столбом продолжало стоять на своем затверженном бездождьи, а под ним на пятьдесят верст кругом плясало мертвое море пыли, точно жертвенный костер, возжженный ломовыми извозчиками с нескольких концов сразу, на пяти товарных станциях и за китайгородской стеной, в центре кирпичной пустыни.

Получалась несурязица. Фрестельны засиживались в городе, а миссис Арильд заживалась в особняке. Вдруг судьба наслала всему оправданье в тот момент, как непонятность оттяжки стала всех удивлять. Гарри заболел корью, и переезд в имение был отложен до его выздоровленья. А песчаные вихри все не унимались, дождя не предвиделось, и все мало-помалу к этому привыкли. Стало даже казаться, что это все тот же, теперь на долгие недели застоявшийся день, которого тогда вовремя не отвели в участок. Вот он и взял силу и до смерти всем осточертел. А теперь на улице его всякая собака знает. Так что если бы не ночи, еще дышавшие какими-то призрачными различьями, то следовало бы сбегать за понятиями и наложить

сургучовые печати на иссякший календарь.

Улицы походили на блуждающие маковые грядки с путешествующими насаждениями. По размягченным панелям, свесив полусыпавшиеся головы, двигались пепельные, изомлевшие тени. Только раз в воскресенье у Сережи с датчанкой хватило духу, сунув головы в умывальные чашки, рвануться вон из города. Они поехали в Сокольники. Однако и тут над прудами стлалась та же гарь, с той только разницей, что духота в городе была недоступна глазу, а тут ее становилось видно. Ее полоса, намешанная из пыли, тумана и паровозного дыма, висела, подобно канцелярской линейке, поперек черного бора, и, разумеется, деловой этот призрак был куда страшнее простого уличного удушья.

Между прочим, полоса эта висела на таком отступе от воды, что лодки свободно под ней проскальзывали; когда же визгливые барышни пересаживались с кормы на весла, то кавалеры, подымаясь им навстречу, задевали за эту говяжью накипь картузами. В пруду, у берега, с кислым шипением дымилась заря. Ее багрянец походил на раскаленную и утопленную в болоте болванку. С того же берега в лопающихся пузырях плыл скользкий, плачевно-раскатчивый рев лягушек.

Между тем смеркалось. Арильд сыпала по-английски, Сережа отвечал ей, и все впопад. Они все быстрее и быстрее кружились по лабиринту, приводившему их все на ту же начальную площадку, и в то же время быстро шли прямой дорогой к заставе, на стоянку трамваев. Они резко отличались от остальных гулявших. Из всех пар, заполнявших рошу, эта всего тревожней отнеслась к наступлению ночи и бросилась уходить от нее так, точно та гналась за ними по пятам. Когда они оглядывались, они будто соразмеряли скорость ее преследования. Впереди же, на всех дорожках, на которые они вступали, росло всем бором нечто подобное присутствию старшего. Это превращало их в детей. Они то брались за руки, то растерянно их опускали. Временами их оставляла уверенность в собственном голосе. Им казалось, что их бросает то в громкий шепот, то в далекий, далью надломленный крик. На самом же деле ничего такого не замечалось: они произносили слова как надо. По временам она становилась легче и прозрачнее лепестка тюльпана, в нем же открывался грудной жар лампового стекла. Тогда она видела, как он борется с горячей, коптящей тягой, чтобы ее не притянуло. Они молча во все лицо глядели друг на друга и потом с болью, как нечто цельное и живое, разрывали надвое эту обоеликую, мольбой о милосердии искаженную улыбку. И тут Сережа опять слышал слова, которым давно подчинился.

Они все быстрее и быстрее кружились по лабиринту мудренейших дорожек и в то же время выходили к заставе, откуда уже несся захлебывающийся звон трамваев, спасавшихся от пустых подвод, всей Стромышкой скакавших за ними вдогонку. Трамвайные звякалки точно плескались в иллюминированном стекле. От них, как от колодцев, несло прохладой. Скоро крайняя и самая пыльная часть бора сошла в деревянных башмаках с земли на каменную мостовую. Они вошли в город.

«Как велико и неизгладимо должно быть унижение человека, – думал Сережа, – чтобы, наперед отождествив все новые нечаянности с прошедшим, он дорос до потребности в земле, новой с самого основания и ничем не похожей на ту, на которой его так обидели или поразили!»

В эти дни идея богатства стала занимать его впервые в жизни. Он затомился неотложностью, с какой его следовало раздобыть. Он отдал бы его Арильд и попросил раздать дальше, и все – женщинам. Несколько первых рук он назвал бы ей сам. И все это были бы миллионы, и названные отдавали бы новым, и так далее, и так далее.

Гарри выздоравливал, но госпожа Фрестельн оставалась при нем неотлучно. Ей продолжали стлать в классной. Вечерами Сережа уходил из дому и возвращался лишь на рассвете. За дверью ворочалась в постели и покашливала хозяйка и всеми способами давала понять, что знает о его неурочных приходах. Если бы она спросила, откуда он является, он не задумываясь назвал бы ей места своих отлучек. Она это чувствовала и, остерегаясь серьезности, какую он вложил бы в ответ и которую ей пришлось бы проглотить как обязательность, оставляла его в покое. Он приходил оттуда с тем же далеким светом в глазах, что с прогулки в Сокольники.

Одна за другой несколько женщин всплыли в разные ночи на уличную поверхность, поднятые привлекательностью и случайностью из несуществования. Три новых женских повести стали рядом с историей Арильд. Неизвестно, почему изливались на Сережу эти признанья. Он не ходил их исповедовать, потому что считал это низостью. Как бы в объяснение безотчетной доверенности, которая влекла их к нему, одна из них сказала, что он словно чем-то похож на них самих.

Это сказала самая матерая и запудренная из всех, самая-рассамая, та самая, что уже до скончания дней была со всем светом на «ты», поторапливала извозчика такими жалобами на свою знобкость, которых нельзя привести, и всеми выпадами

своей хриплой красоты уравнивала все, до чего ни касалась. Ее комнатка во втором этаже пятиоконного домика, кривого и вонючего, ничем не отличалась от любого мещанского жилья из беднейших. По стене ниспадали дешевые ширинки, утыканные фотографиями и бумажными цветами. У простенка, крыльями захватывая оба подоконника, горбился раскладной стол. А напротив, у не доходившей до верху перегородки, стояла железная кровать. И, однако, при всем сходстве с человеческим жилищем это место было полной его противоположностью.

Половики подстилались под ноги гостя с редким холуйством и, приглашая не церемониться с квартиранткой, сами, казалось, готовы были подать пример, как ею помыкать. Чужой толк был их единственным хозяином. Все существовало настежь, проточным порядком, как в потоп. Казалось, даже и окна обращены тут не изнутри наружу, а снаружи вовнутрь. Подмытые уличной славой, как в наводнение, домашние вещи не чинясь и как попадетса плавали по широкому званью Сашки.

Зато и она в долгу перед ними не оставалась. Все, за что она ни бралась, она делала на ходу, крупным валом и по-одинаковому, без спадов и нарастаний.

Приблизительно так же, как, все время что-то говоря, выбрасывала она упругие руки, раздеваясь, она потом, на рассвете, за разговором, упираясь животом в столовое крыло и валя пустые бутылки, додувала свои и Сережины подонки. И приблизительно по-такому же, в той же степени, стоя в длинной рубаше спиной к Сереже и отвечая через плечо, без стыда и бесстыдства прудила в жестяной таз, внесенный в комнату тою старухой, что их впускала. Ни одного из ее движений нельзя было предугадать, и ее надтреснутую речь подымал и опускал тот же жаркий бросовой нахрап, что сбивал набок ее пряди и горел в ее расторопных руках. В ровности этого проворства и заключался ее ответ судьбе. Вся человеческая естественность, ревущая и срамословящая, была тут, как на дыбу, поднята на высоту бедствия, видного отовсюду. Окружностям, открывавшимся с этого уровня, вменялось в долг тут же, на месте, одухотвориться, и по шуму собственного волнения можно было расслышать, как дружно, во всей спешности обстраиваются мировые пустоты спасательными станциями. Острее всех острот здесь пахло сигнальной остротой христианства.

В исходе ночи переборку колыхнуло незримым мановеньем двора. Это ввалился в сени ее покровитель. Нюх на чужое присутствие, самый верный из его доходов, не оставлял его и в чернейшем хмелю. Тихонько переступая в тяжелых сапогах, он как вошел, тотчас же тихо рухнул где-то рядом за переборкой и, ничем не сказавшись, вскоре перестал существовать. Его тихое ложе стояло, вероятно, доска об доску с промысловой кроватью. Вероятно, это был ларь. Едва он захрапел, как в него снизу живым и жадным долотом ударила крыса. Но опять наплыла тишина. Храпа вдруг не стало, крыса притаилась, и по комнате пробежал знакомый ветерок. Существа на гвоздях и клею признали хозяина. Все, чего не смели тут, смел вор за стеной. Сережа спрыгнул на пол.

– Куда ты? Убьет! – всем нутром прохрипела Сашка и, протащившись по постели, повисла на его рукаве. – Сердце сорвать не штука, а уйдешь – спину мне подставлять?

Но Сережа и сам не знал, куда рвался. Во всяком случае, это была не та ревность, которая померещилась Сашке, хотя она и не меньшей страстью подплывала к сердцу. И если что когда, подобно упряжной приманке, было выкинуто наперевес человеку, в залог его вечного хода, то именно этот инстинкт. Это была ревность, которою мы иногда ревнуем женщину и жизнь к смерти, как к неизвестному сопернику, и рвемся на волю за волею для вызволения той, кого ревнуем. И, конечно, тут пахло все тою же остротой.

Было еще очень рано. По ту сторону мостовой в широких дверях лабазов уже угадывались раскидные листы тройных железных створ. Пыльные окна серели, до четверти налитые круглым булыжником. На Тверских-Ямских, как на весах, лежал рассвет, и воздух казался мелкой сенной трухой, беспрестанно им отделяемой. У стола сидела Сашка. Блаженная сонливость кружила и несла ее, как вода. Она болтала без умолку, и ее говор походил на здоровое дремлющее животное.

– Эх ты, Виновата Ивановна! – не слыша своих слов, тихо приговаривал Сережа. Он сидел на подоконнике. А по улице уже проходили люди.

– Нет, ты не медик, – говорила Сашка, наваясь боком на доску. Она то ложилась щекою на локоть, то, выпрямив руку, всю ее медленно оглядывала сбоку, от плеча к кисти, точно это не рука была, а далекая дорога или ее жизнь, видная ей одной. – Нет, ты не медик. Медики другие. Я вас простотки не знаю, как, – ну, иное, когда сзади идет, не видать, – хвостом признаю. Небось учитель? Ну вот. А то я до смерти простуды боюсь. Да ты не медик, нечего и спрашивать. Ты, послушай, не из татар ли, а? Ты приходи. Днем приходи. Ты адреса-то не потеряешь?

Они беседовали вполголоса, и Сашку то разбирал бисерный задорный хохоток, то одолевала зевота с почесотой. Она с детской ненасытностью, точно возвращенным достоинством, наслаждалась этой безмятежностью, очеловечивавшей еще больше того

и Сережу.

Промежду болтовни, назвав Польшу Царством Польским, она хвастливым кивком на стену, где в глянцевином гнезде прочих карточек лоснилось чучело благодушного унтера, выдала самое для нее далекое и заветное, то есть вероятного всему первопричинника. Вероятно, к нему и вела, от плеча к кисти, ее полная, терявшаяся в даях рука. А может быть, и не к нему. Вдруг, подобно сухому сену, разом зажглась заря и вся вдруг, как сено, сгорела. По лобасто-пузырчатым стеклам поползли мухи. Фонари и туманы обменялись зверскими зевками. Весь в разбегающихся искрах, затлев, занялся день. Тут Сережа почувствовал, что никого еще так сильно не любил, как Сашку, и тут же в мыслях увидел, как, куда-нибудь подале к кладбищам, мостовая обязательно в мясных красных пятнах; и бульжник на ней крупнее и реже, как у застав. Поперек же нее, отрываясь и уходя, отрываясь и уходя, спокойно скользят товарные вагоны, пустые и со скотиной. Вдруг происходит нечто подобное крушению, движение чем-то перехватывается, из глубины подымается отсеченный конец улицы. Это тем же ходом, друг дружке в наверст, друг дружке в наверст идут порожняком платформы, но их не видно за плотной стеной людей и телег у переезда. Тут крапива и курослеп, и пахло бы полевою мышью, когда бы не гарь. И тут же бойко шестилетнюю вострушкой юлит сопливая Сашка. Наконец, всех позднее и в страшных попыхах, – точно спрашивая у стоящих, не видали ли вагонов, не пробегали ль, – задом-задом поспешает черный потный паровоз. Вот шлагбаум подымается, улица разбегается прямой стрелой, вот сейчас с двух сторон, врезаясь друг в друга, двинутся возы и человеческие расчеты. И тут на середку мостовой теплым желудком чудища, травяным, трижды скрученным мешком брякается паровозный дым, тот самый, может статься, ливер, которым питается окраинная беднота. И Сашка путается и поглядывает, как страшен он среди чайных и колониальных товаров, с продажей сигар и табаку, и кровельного железа, и городских, а про ее глаза и пятки где-то тем временем пишут «Детство женщины». На мостовой пахнет овсом, и она до головной просто-таки боли припечатана солнцем по конской моче. И вот, не миновав-таки простуды, которой так боялась, потеряв глаза и пятки, и нос, и разум, перед тем, как слечь в больницу, а то и в могилу, забегает она на минутку за книжкой, в которой, говорили, про это все прописано, ну просто-таки про все, про все, и вот, видно, правда: дурой жила, дурой и помирать. Ей и на тротуар нельзя, отрядом по мостовой ведут, а ей, вишь, что приспичило. Сбрехнули, а она, дура, и подхвати, просто смешно. Про другую это все: и фамилия не русская, и город другой. Вот городской при книжке холщовой с тесемкою, там и она, в ней и читай. Ну, и (мгновенный нажим похабной собачки) – та-тра-тра, та-та-та, – конец один. И городские смотрят ласковой. Баб они ведут огнестрельных, а у благородной публики язык на предохранителе. – Ты что это призадумался? Ты б на других посмотрел. Ты на меня не гляди, я – что, я против них простотки сказать – барыня. Ты на то не смотри, час ли там какой или еще что, – может, скажешь, спят, – много ты про нас понимаешь! Ой, уморил, ой, помру, ха-ха-ха! Ты днем приходи. А об нем не думай. Ты его не бойся, он смиренный, ну конечно, когда не трогать. Ведь вот ты в дверь – он из двери; а то либо, вишь, спит, – поди добудись, да вперед найди. Потемки – не ступишь. И чего дался он тебе, не понимаю, диви б мешал. Другие бывали, не обижаются. Тоже, которые благородные, вашего звания. Ну, готово, теперь только пудру и сумочку не забыть, на, поддержи. Ну, пойдем, до Садовой провожу, авось назад не скучать, дело привычное. Что день, что утро, глазок скосишь – так в руки и плывут, так и плывут. Ай тебе не к Страшному? Ну ладно, прощай, смотри, не забывай. А я одна пойду, кобелям поваднее. Адреса-то не потеряешь?

Улицы натошак были стремительно прямы и хмуры. По их пролетному безлюдью еще носился сизый, сластолюбивый гик пустоты. Изредка одиночками навстречу попадались сухопарые людоеды. Вдалеке на шоссе дутой голубиной грудью колотился все об одно какое-то место скачущий лихач. Сережа шел в Самотеки и за версту от Триумфальной воображал, будто слышит, как Сашке свистнули с тротуара на тротуар, она же замедлилась, сама игриво любопытствуя, кто кого, то есть кликнувший ли перейдет через дорогу или кликнутая. Хотя день только начался, но в сутолочной липовой листве уже висели запутавшиеся нити зноя, бредовые, как крошки в бородах у покойников. И Сережу знобило.

IV

Богатство следовало раздобыть немедленно. И, разумеется, не работою. Заработок

не победа, а без победы не может быть освобождения. И, по возможности, без громких общностей, без привкуса легенды. Ведь и в Галилее дело было местное, началось дома, вышло на улицу, кончилось миром. Это были бы миллионы, и если бы такой вихрь пролетел по женским рукам, обежав из Тверских-Ямских хотя одну, это обновило бы вселенную. А в этом и нужда – в земле, новой, с самого основания. «Главное, – говорил себе Сережа, – чтобы не раздевались они, а одевались; главная вещь, чтобы не получали деньги, а выдавали их. Но до исполненья плана, – говорил он себе (а плана-то никакого не было), – надо достать совсем другие деньги, рублей двести или хоть полтора. (Тут Нюра Рюмина вставала в сознании, и Сашка; и Анна Арильд Торнскюльд была не на последнем месте.) И это – суммы совсем иного назначенья. Так что в виде временной меры их не колеблясь можно принять и из честного источника. Ах, Раскольников, Раскольников, – повторил про себя Сережа. – Только при чем же закладчица? Закладчица – Сашка в старости, вот что... Но хотя бы и законно, откуда их достать, вот в чем вопрос. У Фрестельнов забрано на два месяца вперед, продать нечего».

Это было в один из первых дней июня. Гарри стали выводить на прогулки. В особняке опять начали снаряжаться на дачу. Арильд возобновила отлучки по делам, прерванным на срок Гарриной болезни. Скоро ей представилось место в отъезд, в Полтавскую губернию, в военную семью.

– Not Souvoff, the other...[2] – полногорло прокартавила она на лестнице, лентясь подняться за письмом. – I forget always[3] .

И Сережа перебрал все вероятия от Кутузова до Куропаткина, пока не оказалось, что это – Скобелевы.

– Awfully! I cannot repeat. How do you pronounce it?[4]

Условия были выгодные, но снова, и в который уже раз, ей пришлось задержаться решением. И вот почему. Едва получив предложение, она захворала, и по жестокости болезни все решили, что это она схватила от Гарри. Между тем сильный, как в кори, жар, в первый же вечер сваливший ее в постель и зашедший за сорок градусов, на другое утро так же стремительно упал до тридцати пяти с десятками. Все это осталось загадкой, врачом не разъясненной, и до крайности бедняжку ослабило. Теперь последствия припадка проходили, и особняк раз или два опять уже огласился громами «Aufschwung»[5] , как в дни, когда Сереже о раскольниковских дилеммах и не мечталось.

Того же числа госпожа Фрестельн с утра повезла Гарри к знакомым на Клязьму, с намерением у них и заночевать, если допустит погода и будет случай. Уехал также куда-то и сам. Половина дня прошла как при хозяевах. Лаврентий, правда, чтобы услужить, предложил было Сереже подать вниз, но он предпочел людей из заведенного распорядка не выводить и, сам не заметив, как это случилось, отобедал наверху в строгой верности часу и даже месту, какое занимал за столом, вторым по счету с правого края.

Итак, был пятый час дня, хозяев не было дома. Сережа поочередно думал то о миллионах, то о двухстах рублях и в этих размышленьях расхаживал по комнате. Вдруг пролетел миг такой особенной ощутительности, что, обо всем позабыв, он, как был, замер на всем шагу и растерянно насторожился. Но вслушиваться было решительно не во что. Только комната, залитая солнцем, показалась ему голее и обширнее обычного. Можно было обратиться к прерванному занятию. Но не тут-то было. Мыслей не осталось и в помине. Он забыл, о чем размышлял. Тогда он поспешно стал доискиваться хотя бы одного словесного звания думанного, потому что на обозначенья вещей мозг отзывается весь целиком, как на собственную кличку, и, пробудившись от оцепененья, возобновляет службу с того урока, на котором нам временно в ней отказал. Однако и эти поиски ни к чему не привели. От них только возросла его рассеянность. В голову лезло одно постороннее.

Вдруг он вспомнил про весеннюю встречу с Коваленкой. Снова обманно обещанная и несуществующая повесть всплыла в его убежденьи в качестве готовой и уже сочиненной, и он едва не вскрикнул, когда догадался, что вот ведь они где, искомые деньги, по крайней мере не те, заветные, а из честного и сотенного разряда, и, все сообразив и задернув занавеску на среднем окне, чтобы затенить стол, недолго думая засел за письмо к редактору. Он благополучно миновал обращение и первые живые незначительности. Совершенно неизвестно, что бы он сделал, дойдя до существа. Но в это время его слух поразила та же странность. Теперь он успел в ней разобраться. Это было сосущее чувство тоскливой, длительной пустоты. Ощущенье относилось к дому. Оно говорило, что он в эту минуту необитаем, то есть оставлен всем живым, кроме Сережи и его забот. «А Торнскюльд?» – подумал он и тут же вспомнил, что с вечера она в доме не показывалась. Он с шумом отодвинул кресло. Оставляя за собой наразлет двери классной, двери детской и еще какие-то двери, он выбежал в вестибюль. В пролете за косой дверкой, выведившей во двор, горело белое, как песок, тепло пятого часа. Сверху оно показалось ему еще более таинственным и плотоядным. «Какое

легкомыслие, – подумал он, быстро переходя из покоя в покой (он знал не все), – всюду окна настезь, в доме и на дворе ни души, можно все вынести, никто не пикнет. Однако что ж это я так наугад? Пока ее дошаришься, мало ли что может случиться». Он пустился назад, стремглав скатился по лестнице и выбежал через надворную дверку, как из дома, объятого пламенем. И, как по пожарной тревоге, тотчас же в глубине двора приотворились сени дворницкой.

– Егор! – не своим голосом крикнул Сережа быстро бежавшему навстречу человеку, который на бегу что-то дожевывал и утирал углом передника усы и губы, – научи, сделай милость, как пройти к француженке (назвать ее французинкой, как во всей точности титуловала дворня датчанку и всех ее предшественниц, у него не хватило духу). Да скорей, пожалуйста, мне тут Маргарита Оттоновна наказала с утра ей кое-что передать, а я только вот вспомнил.

– А вон окошко, – торопливо доглатывая жеванное, коротко, длинной в глоток, вякнул дворник и затем, подняв руку и мотнув освобожденной шеей, пошел совсем по-другому сыпать, как туда попасть, все время глядя не на Сережу, а в сторону, на соседнее владенье.

Оказалось, что часть убогого трехэтажного здания из небеленого кирпича, прямым вгибом примыкавшего к особняку и арендовавшегося у Фрестельнов под гостиницу, открыта в этой смежности под надобности хозяев и что в нее есть доступ снизу, из особняка, по коридору, мимо детской половины. В эту узкую полосу, выделенную из гостиницы глухой внутренней стеной, попадало по комнате на этаж. На третий и приходилось окно камеристки. «Где все это было уже раз?» – полюбопытствовал Сережа, топая по коридору, когда на муровой меже, разделявшей обе кладки, под ногами прогромыхали наклонные половицы добавочного настила. Он было и вспомнил – где, да не стал вникать, потому что в ту же минуту прямо перед ним чугунную улиткой повисла винтовая лестница. Заключив его в свое витье, она стеснила его в разбеге, чем и заставила отдышаться. Но сердце билось у него еще достаточно гулко и часто, когда, раскружась до конца, она прямо подвела его к номерной двери. Сережа постучался и не получил ответа. Он сильнее надобности толкнул дверь, и она с размаху шмякнулась о простенок, не породив ничьего возражения. Этот звук красноречивее всякого другого сказал Сереже, что в комнате никого нет. Он вздохнул, повернулся и, наклонясь, взял уже за винтовые перила, но, вспомнив, что оставил дверь настезь, вернулся ее притворить. Дверь разворачивалась направо, и, сунувшись за дверной ручкой, туда и следовало глядеть, но Сережа бросил воровской взгляд налево и так и обомлел.

На вязаном покрывале кровати, фасонными каблуками прямо на вошедшего, в гладкой черной юбке, широко легкой напрочь, праздничная и прямая, как покойница, лежала навзничь миссис Арильд. Ее волосы казались черными, в лице не было ни кровинки.

– Анна, что с вами? – вырвалось из груди у Сережи, и он захлебнулся потоком воздуха, пошедшим на это восклицание.

Он бросился к кровати и стал перед нею на колени. Подхватив голову Арильд на руку, он другою стал горячо и бестолково наискивать ее пульс. Он тискал так и сяк ледяные суставы запястья и его не доискивался. «Господи, господи!» – громче лошадиного топота толкло у него в ушах и в груди, тем временем как, вглядываясь в ослепительную бледность ее глухих, полновесных век, он точно куда-то стремительно и без достижения падал, увлекаемый тяжестью ее затылка. Он задыхался и сам был недалеко от обморока. Вдруг она очнулась.

– You, friend?[6] – невнятно пробормотала она и открыла глаза.

Дар речи вернулся не к одним людям. Заговорило все в комнате. Она наполнилась шумом, точно в нее напустили детей. Первым делом, вскочив с полу, Сережа притворил дверь. «Ах, ах», – без цели топчась по комнате, повторял он что-то в блаженной односложности, поминутно устремляясь то к окну, то к комоду. Хотя номер, выходящий на север, плыл в лиловой тени, однако аптечные этикетки можно было прочесть в любом углу, и вовсе не требовалось, разбирая пузырьки и склянки, подбегать с каждою в отдельности к свету. Делалось это лишь с тем, чтобы дать выход радости, требовавшей шумного выраженья. Арильд была уже в полной памяти и только, чтобы доставить Сереже удовольствие, уступала его настояниям. Ему в угоду она согласилась нюхать английскую соль, и острота нашатыря пронзила ее так же мгновенно, как всякого здорового человека. Заслезенное лицо застлалось складками удивленья, брови стали уголками вверх, и она оттолкнула Сережину руку движеньем, полным возвратившейся силы. Он также заставил ее принять валерьянки. Допивая воду, она стукнула зубами об рант стакана, причем издала то мычанье, которым дети выражают полностью утоленную потребность.

– Ну, как наши общие знакомые, уже вернулись или еще гуляют? – отставив стакан на столик и облизнувшись, спросила она и, приподняв подушку, чтобы сесть поудобнее, осведомилась, который час.

– Не знаю, – ответил Сережа, – вероятно, конец пятого.

– Часы на комоду. Посмотрите, пожалуйста, – попросила она и тут же удивленно

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
прибавила: – Не понимаю, на что вы там зазевались! Они на самом виду. А, это – Арильд. За год до смерти.

– Удивительный лоб.

– Да, не правда ли?

– И какой мужественный! Поразительное лицо. Без десяти пять.

– А теперь еще плед, пожалуйста, – вон на сундуке... Так, спасибо, спасибо, прекрасно... Я, пожалуй, немножко еще полежу.

Сережа раскачал и тугим пинком распахнул неподатливое окно. Комнату колыхнуло емкостью, точно в нее ударили, как в колокол. Пахнуло тягучим духом желтых одуванчиков, травянисто-резиновым запахом красных бульварных рогаток. Крик стрижей кинулся путаницей к потолку.

– Вот, положите на лоб, – предложил Сережа, подавая Арильд полотенце, политое одеколоном. – Ну, как вам?

– О, бесподобно, разве вы не видите?

Он вдруг почувствовал, что не в силах будет с ней расстаться. И потому сказал:

– Я сейчас уйду. Но так нельзя. Это может повториться. Вам надо расстегнуть ворот и распушить шнуровку. Справитесь ли вы со всем этим сами? В доме никого нет.

– You'll not dare... [7]

– О, вы меня не поняли. К вам некого послать. Ведь я сказал, что уйду, – тихо перебил он ее и, понурив голову, медленно и неповоротливо направился к двери. У порога она его окликнула. Он оглянулся. Опершись на локоть, она протягивала ему другую руку. Он подошел к ее изножью.

– Come near, I did not wish to offend you [8].

Он обошел кровать и сел на пол, поджав ноги. Поза обещала долгую и непринужденную беседу. Но от волнения он не мог вымолвить ни слова. Да и говорить было не о чем. Он был счастлив, что не под винтовой лестницей, а еще при ней, что не сейчас еще перестанет ее видеть. Она собралась прервать молчание, тягостное и несколько смешное. Вдруг он стал на колени и, упершись скрещенными руками в край тюфяка, уронил на них голову. У него втянулись и разошлись плечи, и, точно что-то размалывая, ровно и однообразно заходили лопатки. Он либо плакал, либо смеялся, и этого нельзя было еще решить.

– Что вы, что вы! Вот не ждала. Перестаньте, как вам не стыдно! – зачастила она, когда его беззвучные схватки перешли в откровенное рыданье.

Однако (да она это и знала) ее утешенья только благоприятствовали слезам, и, глядя его по голове, она потворствовала новым их потокам. А он и не сдерживался. Сопротивленью повело бы к затылке, а тут имелся большой застарелый заряд, который хотелось извести как можно скорее. О, как радовало его, что не устояли и сдвинулись, наконец, и поехали все эти Сокольники и Тверские-Ямские, и дни и ночи двух последних недель! Он плакал так, точно прорвало не его, а их. И действительно, их несло и крутило, как подмытые бревна. Он плакал так, будто ждал от бури, внезапно ударившей, как из облака, из его забот о миллионах, каких-то очистительных последствий. Словно слезы эти должны были иметь влияние на дальнейший ход житейских вещей.

Вдруг он поднял голову. Она увидела лицо, омытое и как бы отнесенное вдаль туманом. В состояньи какого-то старшинства над собой, будто прямой себе опекун, он произнес несколько слов. Слова были окутаны тою же пасмурной, отдаляющей дымкой.

– Анна, – тихо сказал он, – не спешите с отказом, умоляю вас. Я прошу вашей руки. Я знаю, это не так говорится, но как мне это выговорить? Будьте моей женой, – еще тише и тверже сказал он, внутренне затрепетав от нестерпимой свежести, на которой вплыло это слово, впервые впущенное им в жизнь и ей равновеликое.

И, выждав мгновение, чтобы справиться с улыбкой, всколебленной им на какой-то предельной глубине, он нахмурился и прибавил еще тише и тверже прежнего:

– Только не смейтесь, прошу вас, – это вас уронит.

Он поднялся и отошел в сторону. Арильд быстро спустила с кровати ноги. Состояние ее духа было таково, что при совершенном порядке платье ее казалось смятым, волосы – растрепанными.

– Друг мой, друг мой, ну можно ли так? – давно уже говорила она, при каждом слове порываясь встать и поминутно об этом забывая, и что ни слово, как виноватая, удивленно разводила руками. – Вы с ума сошли. Вы безжалостны. Я лежала без памяти. Я с трудом привожу в движение веки, – слышите ли вы, что я говорю? Я не мигаю, а шевелю ими, понимаете вы это или нет? И вдруг такой вопрос, и в упор! Но не смейтесь и вы. Ах, как вы меня волнуете! – как-то по-другому, будто в скобках и про себя одну, воскликнула она и, соскочив на ноги, быстро подбежала с этим восклицанием, как с ношей, к комоду, по другую сторону которого, локоть в доску, подбородок в ладонь, стоял он, хмуро ее

слушая.

Она ухватила обеими руками за углы бортовой кромки и, покачиванием всего корпуса выделяя доводы особо разительные, продолжала, обдавая его светом постепенно побеждаемого волнения:

– Я ждала этого, это носилось в воздухе. Я не могу вам ответить. Ответ заключен в вас самих. Может быть, все когда-нибудь так и будет. И как бы я этого хотела! Потому что, потому что ведь вы не безразличны мне. Вы, конечно, об этом догадывались? Нет? Правда? Нет, скажите – неужели нет? Как странно. Но все равно. Ну, так вот, я хочу, чтобы вам это было известно. – Она запнулась и переждала мгновение. – Но я все время наблюдала вас. Есть что-то в вас неладное. И знаете, сейчас, в эту минуту, его в вас больше, чем позволяет положение. Ах, друг мой, так предложений не делают. И дело тут не в обычае. Но все равно. Послушайте, ответьте мне на один вопрос, чистосердечно, как родной сестре. Скажите, нет ли у вас на душе какого-нибудь позора? О, не пугайтесь, ради бога! Разве несдержанное обещание или неисполненный долг не оставляют пятен? Но, конечно, конечно, я предполагала и сама. Все это так не похоже на вас. Можете не отвечать – я знаю: ничего из того, что меньше человека, в вас долгого и частого пребывания не может иметь. Но, – задумчиво протянула она, отчеркнув рукою в воздухе нечто неопределенно пустое, и в голосе у нее появились усталость и хрипота, – но существуют вещи, которые больше нас. Скажите, нет ли в вас чего-нибудь такого? В жизни это одинаково страшно, я бы этого боялась, как присутствия постороннего.

Более существенного она уже ничего не сказала, хотя примолкла не сразу. По-прежнему двор был пуст и флигеля – как вымершие. Как раньше, над ними носились стрижи. Конец дня горел, подобно былинной сече. Стрижи подплывали целой тучей медленно трепещущих стрел и вдруг, обратив назад острия, с криком уносились обратно. Все было как раньше. Только в комнате стало чуть темнее. Сережа молчал, потому что не знал, совладает ли с голосом, если прервет молчанье. При всякой попытке заговорить у него удлинялся и начинал дробно подрагивать подбородок. Реветь же одному, по своей причине, без возможности свалить это на московские предместья, представлялось ему постыдным. Анну до крайности удручало это молчанье. Еще больше была она недовольна собою. Важнее всего было то, что она на все была согласна, а ведь это вовсе не явствовало из ее слов. Ей казалось, что все идет из рук вон гадко и по ее вине. Как всегда в таких случаях, она казалась себе бездушной куклой и, клевета на себя, стыдилась холодной риторики, якобы заключающейся в ее ответе. И вот, чтобы поправить этот воображаемый грех и уверенная, что теперь все пойдет по-другому, она сказала голосом всего этого вечера, то есть голосом, приобретшим сходство с Сережиным: – Я не знаю, поняли ли вы меня. Я ответила вам согласьем. Я готова ждать, сколько будет надо. Но сперва приведите себя в порядок, мне неведомый и слишком, вероятно, известный вам самим. Я сама не знаю, о чем говорю. Эти намеки поднимаются во мне против воли. Угадать или догадаться – ваше дело. Затем вот что: ожиданье дастся мне нелегко. А теперь довольноно, а то мы изведем друг друга. Теперь послушайте. Если я вам, правда, дорога хоть вполчину того... Ну что вы, ну, не надо, ну, прошу вас, ведь вы все уничтожите... Ну вот, спасибо. – Вы что-то хотели сказать, – тихо напомнил он ей. – Да, конечно, – и не забыла. Я хотела попросить вас спуститься вниз. Правда, послушайте меня, ступайте к себе, умойте лицо, пройдитеесь, надо успокоиться. Вы не согласны? Ну, хорошо. Тогда другая просьба, бедный вы мой. Ступайте все-таки к себе и обязательно умойтесь. Нельзя с таким лицом казаться на люди. Подождите меня, я зайду за вами, мы пройдемся вместе. И перестаньте мотать головой. Смотреть тоска. Ведь это самовнушение. Заговорите, попробуйте, – положитесь на меня.

Опять прогромыхали под ним пустоты скошенного надполья, опять вспомнился институтский двор. Опять мысли, вызванные воспоминаньем, понеслись лихорадочно-машинальной чередой, до него не имевшей отношенья. Опять очутился он в залитой солнцем комнате, чересчур обширной и потому производившей впечатление необжитой. За его отсутствие свет переместился. Занавеска на среднем окне уже не затеняла стола. Это был тот самый свет, желтый и косой, действие которого продолжалось наверху за углом и, вероятно, откладывало все более фиолетовые тени на кровать и комод, уставленный склянками. При Сереже это полиловенье знало еще меру и шло довольно благородно, но как ускорится оно, наверное, без него, как самовластно и победно, воспользовавшись его уходом, накинута на нее стрижи. Еще есть время предотвратить насилие и нагнать ушедшее, еще не поздно начать все сызнова и кончить по-другому, еще все это можно, но скоро будет нельзя. Зачем же он тогда ее послушался и оставил? «Ну, и хорошо. Ну, и допустим», – в то же время отвечал он из этого горячего Аннина ряда другим лихорадочно-машинальным

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

мыслям, которые неслись мимо него и до него не имели отношенья. Он раздернул среднюю занавеску и затянул крайнюю, отчего свет сдвинулся и стол ушел во мрак, а вместо стола из тени вышла и до задней стены озарилась соседняя комната, по которой должна была пройти к нему Анна. Дверь туда стояла настежь. За всеми этими движеньями он забыл, что должен был умыться.

«Ну, и Мария. Ну, и допустим. Мария ни в ком не нуждается. Мария бессмертна. Мария не женщина». Он стоял задом к столу, прислонясь к его краю, сложив накрест руки. Перед ним с отвратительной механичностью неслись пустые институтские помещенья, гулкие шаги, незабытые положенья прошлого лета, невывезенные Мариинки тюки. Многопудовые корзины мелькали как отвлеченные понятия, чемоданы в ремнях и веревках могли служить посылками к умозаключениям. Он страдал от этих холодных образов, как от урагана праздной духовности, как от потока просвещенного пустословья. Нагнув голову и скрестив руки, он с раздражением и тоской ждал Анну, чтобы броситься к ней и укрыться от этого пошлого скакового наваждения. «Ну, и – с провалом. Благодарствуйте, и вас так же. Ерундили, ерундили, а другой подоспел, и следов не найти. Ну, и дай ему бог здоровья, не знаю и знать не хочу. Ну, и – без вести, и бесследно. Ну, и допустим. Ну, и прекрасно». А пока он обменивался колкостями с прошлым, фалды его пиджака ерзали по листку почтовой бумаги, записанному сверху и на две трети чистому. Он знал и об этом, но письмо к Коваленке тоже пока находилось в чужом ряду, с которым он пикировался.

Вдруг он в первый раз за истекший год заподозрил, что помог Ильиной очистить квартиру и собрал ее за границу Бальц, подлец (как это у него внутренне назвалось). Он тут же почувствовал с достоверностью, что – угадал. У него жалось сердце. Его резануло не прошлогоднее соперничество, а то, что в Аннин час его могло заинтересовать нечто не Аннино, получив недопустимую и для нее обидную живость. Но с тою же внезапностью он сообразил, что чужое вмешательство может грозить ему и нынешним летом, пока сам он не станет суше и положительней. Он принял какое-то решение и, повернувшись на каблуках, обозрел комнату и стол, точно новое в жизни положенье. Закатные полосы вошли в сок и набирались последней злости. Воздух в двух местах был распилен сверху донизу, и с потолка на пол сыпались горячие опилки. Конец комнаты казался погруженным во мрак. Сережа положил почтовую стопку так, чтобы было с руки, и засветил электричество. За всем этим он позабыл, что у них уговорено было с Анной пойти пройтись. «Я женюсь, – сообщал он Коваленке, – и мне до зарезу нужны деньги. Повесть, о которой я вам говорил, я переделываю в драму. Драма будет в стихах».

И он принялся излагать ее содержание:

«Однажды в реальных условиях нынешней русской жизни, однако представленных так, что они получают более широкое значение, среди крупнейших воротил одной из столиц зарождается слух, который затем крепнет и обогащается частностями. Он передается изустно, подтверждения ему в газетных публикациях не ищут, потому что дело это противозаконное и по недавно преобразованному праву относится к разряду уголовных. Будто явился человек – охотник запродать себя в полную другую собственность и продаваться будет с молотка, а какой в этом смысл и корысть, будет видно на аукционе. Будто не без Уайльда тут, и будто опять от женщин, – в звон, без угадки, где он, перекачивают по молодому купечеству той руки, что дома свои обставляют по эскизам театральных декораторов, а беседу уснащают терминами индийского духоведения. В назначенный день, – ибо даже сведения о месте и дне торгов непостижимым образом до всех доходят, – каждый отправляется за город с опаскою, не одурочен ли он знакомыми и не на посмеяние ли им едет. Но любопытство сильнее, к тому же и погода чудесная, на дворе июнь месяц. Происходит все на даче, дача новая, никто из них в ней до этого раза не бывал. Народу много, все своя публика: наследники крупнейших состояний, философы, меломаны, коллекционеры, разборчивые ценители. Стулья рядами, пол приподнятый, вроде эстрады, рояль с занесенной на подпорку крышкой, от рояля несколько вбок столик, на столике молоток. Несколько широких трехстворчатых окон. Вот он выходит... Это очень еще молодой человек. Тут, разумеется, будет затрудненье с именем, и действительно, как его назвать, если с первых же шагов человек сам лезет в символы?

Однако и символы бывают разные, назвать же его как-нибудь надо, назовем его временно алгебраически, ну, хоть бы Игреком Третьим. Сразу видно, что никакого блеска не будет, что не цирком пахнет, не Калиостро, не из «Египетских (даже) ночей», что родился человек всерьез и даже не без намерения. Видно, что дело не шуточное, что все совершится в их общую бытность на свете, без отступлений в вымысел, и что им от этого не отвертеться. И потому, со всем простодушием прозы, его, точно на углу Охотного и Дмитровки, встречают аплодисментами. Он объявляет, что тот, кто даст за него всех больше, будет волен в его жизни и смерти. Что он в одни сутки распорядится выручкой, как задумал, и ничего себе не оставит, вслед

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

за чем наступит его полная и беспрекословная неволя, продолжительность какой-либо сейчас и полагает в руки будущего хозяина, ибо не только будет тот властен пустить его в оборот, в какой захочет, но и вовсе его прикончить, когда и как ему заблагорассудится. Подложная записка о самоубийстве, наперед обеляющая убийцу, у него готова. Любой другой документ, имеющий покрыть знаками его доброй воли все, что с ним ни случится, он изготовит при надобности, когда укажут. «А теперь, – говорит Игрек Третий, – я поиграю вам и почитаю. Играть я буду одно непредвиденное, то есть экспромтом, читать – готовое, хотя и свое». И вот тогда по эстраде проходит новое лицо и садится за столик. Это друг Игрека Третьего. В отличие от остальных друзей, распrostившихся с ним поутру, этот остался при Игреке по просьбе последнего. Он любит его не меньше других, но в отличие от них не теряет хладнокровья, потому что не верит в осуществление Игрековой затеи. Служит он в казначействе и очень исполнительный человек. Вот Игрек и оставил его выкрикивать наддачи при совершении сделки, которой сам оставленный не придает цены. Он остался, чтобы помочь сбыться выдумке, в сбыточность которой не верит, а потом в заключение отстукать друга в далекий путь по всем правилам аукционного искусства. Тут начинается дождь...»

«Тут начинается дождь», – вывел Сережа на краю восьмого листочка и перенес писанье с почтовой бумаги на писчую. Это был первый черновой набросок из тех, что пишут один или два раза в жизни, ночь напролет, в один присест. Они по необходимости изобилуют водой, как стихией, по самой природе предназначенной воплощать однообразные, навязчиво-могучие движенья. Ничего, кроме самой общей мысли, еще не оформленной, в такие первые вечера не оседает на записи, лишенной живых подробностей, и только естественность, с какой рождается эта идея из пережитых обстоятельств, бывает поразительна. Дождь был первой подробностью наброска, остановившей Сережу. Он перенес ее с осьмушки на бумагу четвертного формата и принялся мараить и перемаривать, добиваясь желанной наглядности. Местами он выводил слова, которых нет в языке. Он оставлял их временно на бумаге, с тем, чтобы потом они навели его на более непосредственные протоки дождевой воды в разговорную речь, образовавшуюся от общения восторга с обиходом. Он верил, что эти промоины, признанные и всем понятные, придут ему на память, и их предвосхищение застилало ему зрение слезами, точно оптическими стеклами не по мерке. Если бы он не сидел, как всякий пишущий, несколько боком к столу, обратив спину к обоим доступам в комнату, или на минуту повернул голову вправо, он бы до смерти напугался. В дверях стояла Анна. Она исчезла не мгновенно. Отступив на шаг, на два от порога, она простояла на виду и в близком соседстве ровно столько, сколько ей казалось надобным, чтобы не дать лишку ни в вере, ни в суеверьи. Ей не хотелось тягаться с судьбой ни намеренной мешкотностью, ни слепой поспешностью. Она была одета как на прогулку. В руках у ней был туго свернутый зонт, потому что за истекший промежуток она не порвала связи с миром и в комнате у нее было окно. К тому же, как спускаться к Сереже, она благоразумно взглянула на барометр, стоявший на урагане. Выросши, подобно облаку, за Сережиной спиной, она, хотя и во всем черном, белела и дымилась в закатной полосе нестерпимой крепости, которая была из-под сизо-лиловой грозовой тучи, наседавшей на сады переулка. Потoki света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное. По двум-трем движеньям, произведенным Сережей, Анна, как в игре в короли, разгадала и его беду, и ее пожизненную неисправимость. Уловив, как двинул он подушкой кулака по глазу, она отвернулась, подобрала юбку и, пригибаясь на ходу, в несколько сильных и широких шагов вышла на цыпочках из классной. Попав в коридор, она пошла по нему немного поспешнее и опустила юбку, и то с тем же покусываньем губ и так же бесшумно. Отказывать ему не приходилось трудиться. Все произошло само собой. Ее окно уже во всю ширь было занято перемещеньями неба. По виду его лиловых нагромождений было ясно, что уже и до ближайшего угла сухой не добежать. Тем скорее надо было что-нибудь предпринять, чтобы только не оставаться одной с этой свежей и быстро нарывающей тоскою. При одном допущении, что можно на всю ночь застрянуть у себя в одиночестве, она леденела от ужаса. Что же случилось бы с ней, если бы это еще и случилось? Пробежав двором в переулок, она невдалеке от дома наняла извозчика, стоявшего с уже поднятым верхом. Она поехала в Чернышевский переулок, к знакомой англичанке, в надежде, что погода будет долгая и неистовая, так что ее нельзя будет отпустить домой и знакомой волей-неволей придется приютить ее на ночь.

«...Итак, на даче начинается дождь. Вот что совершается перед окнами. Старые березы целыми стаями отпускают листья на волю и устраивают им проводы с пригорка. Тем временем свежие вороха, путаясь у них в волосах, взвиваются белесыми вихрями нового пореденья. Проводив их и потеряв из виду, березы поворачиваются к даче, наступает тьма, и еще раньше, чем раздастся первый удар

грома, внутри начинается игра на рояле.

Темой своей Игрек выбирает ночное небо в том виде, в каком оно выйдет из бани, в кашемировом пуху облаков, в купоросно-ладанном пару трепаной рожи, с сильным проступом звезд, промытых до последних скважинок и будто ставших крупнее. Блеск этих капель, которым никак не расстаться с пространством, как бы они от него ни старались оторваться, им уже развешан над инструментальной чашей. Теперь, разбегаясь по клавиатуре, он бросает сделанное и возвращается к нему, предает его забвению и наводит на память. Стекла плющатся потоками ртутного студня, перед окнами с охалками огромного воздуха ходят березы и всюду им сорят, осыпая косматые водопады, а музыка знай отвешивает поклоны направо и налево и все что-то с дороги обещает.

И замечательно, всякий раз, как кто-нибудь пробует усомниться в честности ее слова, играющий обдаёт маловеера каким-то неожиданным, упорно возвращающимся чудом в звуках. Это чудо его собственного голоса, то есть чудо их завтрашнего способа чувствования и запоминанья. Сила этого чуда такова, что она шутя могла бы раскроить таз фортепяну, попутно сокрушив кости купечеству и венским стульям, а она рассыпается серебристою скороговоркой и звучит тем тише, чем чаще и шибче возвращается.

Так же точно он и читает. Он выражается так: я прочту вам столько-то полос белого стиха, столько-то колонок рифмованного. И опять всякий раз, как кому-нибудь кажется, будто этому ковровому вранью безразлично, лечь ли теменем или пятками в полюс, появляются описанья и уподобленья невиданной магниточувствительности. Это – образы, то есть чудеса в слове, то есть примеры полного и стрелоподобного подчиненья земле. И значит, это – направленья, по которым пойдет их завтрашняя нравственность, их устремленность к правде. Но как странно, видимо, переживал все этот человек. Точно кто попеременно то показывал ему землю, то прятал ее в рукав, и живую красоту он понял как предельное отличие существованья от несуществованья. В том-то и новизна его, что эту разницу, мыслимую не долее мгновенья, он удержал и возвел в постоянный поэтический признак. Но где он мог видеть эти явления и исчезновенья? Не голос ли человечества рассказал ему о мелькающей в смене поколений земле?

Все это сплошь и без изъятий – непреложное искусство, все оно говорит о бесконечностях по нашепту границ, все рождается из богатейшей, бездонно-задушевной земной бедности. Он перемежает игрою чтение, он слышит шелест французских фраз, его обдают духами. Его вполголоса просят забыть обо всем и только продолжать исполняемое и не прекращать его, – и все это не то. И вот он поднимается и говорит, что их любовь до него доходит, но что они полюбили его недостаточно. А то бы они вспомнили, что они на аукционе и для чего он их собрал. Он говорит, что не может им открыть своих планов, а то они опять вмешаются, как бывало уже столько раз, и предложат другой выход и другую помощь, и даже, может статься, более щедрую, но обязательно неполную и не ту, которую ему подсказало сердце. Что в той крупной купюре, в какой выпущен человек, ему нет приложенья. Что ему надо разменять себя и они должны ему в этом помочь. И пускай его затея кажется им гибельной причудою. Все равно он либо слышен им весь, либо нет. И если он им слышен, то пусть тогда и слепо ему подчинятся. Он возобновляет игру и чтение, в перерывах трещат имена числительные, праздным рукам и глотке приятеля подыскивается работа, и вот через минут двадцать безрассуднейшей лихорадки, в самый разгар глицериновой хрипоты, на последнем гребне беспримерной испарины, он достается наизадушевнейшему из искателей, человеку строжайших правил и прославленному благодетелю. И не сразу, не в этот вечер, отпускает его тот на свободу...»

V

Разумеется, это не подлинник Серезиной записи. Но он и сам не довел ее до конца. В голове у него осталось много такого, что не попало на бумагу. Он как раз обдумывал сцену городских беспорядков, когда в комнату, ведя за руку упирившегося Гарри, видно стыдившегося предстоявшего скандала, вломилась Маргарита Оттоновна, насквозь мокрая и разъяренная.

По Серезиной мысли предполагалось, что у благодетеля с подневольным на третий, скажем, день сделки произойдет разговор большой значительности и проникновенности. Было задумано, что, поселив Игрека отдельно и истомив его роскошью ухода, а себя – заботами, богач не вынесет тоски и зайдет к нему в пристройку с просьбою, чтобы тот шел на все четыре стороны, потому что ему никак

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
не придумать, как им воспользоваться подостойнее. А Игрек откажется. И вот в ночь этого разговора им должны будут принести в деревню весть о происшедших в городе беспорядках, начавшихся с буйств в околоте, куда Игрек подбросил свои миллионы. Обоих эта новость обескуражит, Игрека же в особенности тем, что в буйствах, далеко прогремевших, он усмотрит поворот к прежнему, а он надеялся на обновление, никому не ведомое, то есть на полное и бесповоротное. И тогда он уйдет...

– Нет, это неслыханно, я зонтик чуть не сломала. Je l'admets ? l'gard des domestiques, mais qu'en ai-je ? penser si[9] ... Но боже, что с вами? Вы нездоровы? А я-то хороша. Пойдите минуту, сейчас. Гарри, моментально, моментально в постель! Разотрите его водкой, Варя, а поговорим завтра, нечего носом сопеть, надо вперед было думать. Ступай, Гарюша. Пятки, пятки, главное, а грудь скипидаром. Завтра всем ласка найдется; и вам, и Лаврентию Никитичу, а с миссис первый ответ.

– А что она сделала?

– Наконец-то! Я при них не хотела. Я сразу ничего не заметила, не сердитесь. У вас неприятности? Что-нибудь в семье?

– Все-таки, виноват, чем вам не угодил миссис?

– Какая миссис? Ничего не понимаю. Как вы покраснели! Ага, так вот оно что. Так, так. Ну хорошо. Да, так, значит, – о моей камеристке. Ее нет с утра. Она ушла со двора вместе с остальной прислугой. Но те хоть к вечеру одумались...

– А миссис Арильд?

– Но это неприлично. Почему я знаю, где ночует миссис Арильд? Suis-je sa confidente?[10] Я вот зачем у вас задержалась, добрейший Сергей Осипович. Я попрошу вас, голубчик, завтра с утра присмотреть за Гарри, чтобы он собрал свои игры и учебники. Пускай сам, как сумеет, их уложит. Разумеется, вы все это потом переделаете, и виду не подавая, что это входило в ваши планы. Я чувствую, вы хотите спросить о белье и об остальных вещах? Все это поручено Варе и вас не касается. Я считаю, что, где только можно, детей надо держать в иллюзии некоторой самостоятельности. Тут и видимость вырабатывает благотворную привычку. Затем я желала бы, чтобы в будущем вы уделяли ему больше внимания, чем это делалось до сих пор. На вашем месте я бы опускала абажур чуть пониже. Позвольте, ну, вот хоть так, что ли. Не правда ли, так лучше, как по-вашему? Но я боюсь простудиться. Мы едем послезавтра. Спокойной ночи!

Однажды, в начале знакомства, Сережа разговорился с Арильд о Москве и стал поверять ее познания. Кроме Кремля, осмотренного ею в достаточности, она назвала ему несколько частей, в которых проживали ее знакомые. Как теперь оказалось, из перечисленных названий он удержал в памяти только два – Садовую-Кудринскую и Чернышевский переулок. Откидывая позабытые направления, точно и Аннин выбор был ограничен его памятью, он теперь готов был поручиться, что Анна проводит ночь на Садовой. Он был в этом уверен, потому что тогда ему был прямой зарез. Отыскать ее в такой час на большой улице, без слабого представления о том, где и у кого искать, не было возможности. Другое дело – Чернышевский, где ее наверняка не могло быть по всему поведению его тоски, которая, подобно собаке, бежала впереди его по тротуару и, вырываясь из рук, его за собой тащила. В Чернышевском он нашел бы ее обязательно, если бы только было мыслимо, чтобы живая Анна своей управою и сама была в том месте, куда ее еще только хотелось (и как хотелось!) поместить. Уверенный в неуспехе, он бежал взглянуть своими глазами на несужденную возможность, потому что был в том состоянии, когда сердце готово лучше глотать черствейшую безнадежность, только бы не оставаться без дела. Было полное уже утро, мутное и холодное. Ночной дождь только прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебристых тополей. Темное небо было, как молоком, окроплено их беловатой листвой. Их обитые листья испещряли мостовую грязными клочками рваных расписок. Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий и все утро, путаное и полное неожиданностей, – в их седой и свежей руке.

По воскресеньям Анна ходила к обеду в англиканскую церковь. Сереже помнилось с ее слов, что тут где-то поблизости должна жить одна из ее знакомых. И потому со своими заботами он расположился как раз против кирки.

Он бросал пустые взгляды в открытые окна спавшего пастората, и сердце глотательными движениями подхватывало куски картины, жадно уписывая сырой кирпич флигелей вместе с мокрой зеленью деревьев. Его тревожные взоры кромсали также и воздух, который поступал всухомятку неведомо куда, минуя легкие.

Чтобы часом не навлечь чьих-нибудь подозрений, Сережа временами беспечно прогуливался по всему переулку. Только два звука нарушали его сонную тишину: Сережины шаги и шум какого-то двигателя, работавшего неподалеку. Это была ротационная машина в типографии «Русских ведомостей». Нутро Сережи было все в кровоподтеках, он задыхался от богатства, которое должен был и еле был в силах

вместить.

Силой, расширявшей до беспредельности его ощущение, была совершенная буквальность страсти, то есть то ее качество, благодаря которому язык кишит образами, метафорами и еще более того – загадочными образованиями, не поддающимися разъяснению. Разумеется, весь переулочек в его сплошной сумрачности был кругом и целиком Анною. Тут Сережа был не одинок и знал это. И правда, с кем до него этого не бывало! Однако чувство было еще шире и точнее, и тут помощь друзей и предшественников кончалась. Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то есть во что обходится ей сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала его на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепию в его кратчайшем и драгоценнейшем извлечении, он смотрел, как, обложенная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и почему-то из Шотландии.

Из ночной редакции вышел человек в пальто и мягкой шляпе. Он не оглядываясь пошел по направлению к Никитской. Чтобы не вызывать в нем подозрений, если бы он оглянулся, Сережа перешел с газетного тротуара на шотландский и зашагал в сторону Тверской. В двадцати шагах от церкви он увидел Арильд в светелке противоположном дома. В эту минуту она подошла изнутри к окошку. Когда они справились с неожиданностью, они заговорили вполголоса, как в присутствии спящих. Это делалось ради Анниной приятельницы. Сережа стоял на середине мостовой. Было похоже, будто они говорят шепотом, чтобы не разбудить столицы. – Я давно слышу, – сказала Анна, – все кто-то ходит, не спит. А вдруг, думаю, это он! Отчего вы не подошли сразу?

Вагонный коридор швыряло из стороны в сторону. Он казался бесконечным. За шеренгой лакированных, плотно задвинутых дверей спали пассажиры. Мягкие рессоры глушили вагон. Он походил на великолепно взбитую чугунную перину.

Всего приятнее колыхались края пуховика, и, чем-то напоминая катанье яиц на Пасху, по коридору в сапогах и шароварах, в круглой шапке и со свистком на ремешке катился толстый обер-кондуктор. Ему было жарко в зимней обмундировке, и в ее облегчение он поправлял на ходу строгое пенсне. Оно поражало своей мелкотой среди крупных капель пота, слезивших сплошь его лицо, точно свежий срез мещерского сыра. В вагоне другого какого-нибудь класса, заметив Сережину позу, он бы обязательно взял пассажира за талию или другим каким-нибудь манером вывел бы из самозабвения. Сережа дремал, положив локти на борт опущенного окошка. Он дремал и просыпался, зевал, восхищался видами и тер глаза. Он высовывался из окна и горланил мотивы, которые в свое время игрывала Арильд, и никто не слышал, как он их орал. Когда поезд с закруглений выходил на прямую, коридором завладевал стройный, неподвижный сквозняк. Всласть набегавшись и нагоготавшись, дикие двери тамбуров и уборных вытягивали крылья, и под гул возрастающей скорости было удивительно чувствовать, что ты не то чтобы на тяге, а попросту сам в числе тянущей птицы, с бравурой Шумана в душе.

Из купе его выгнала не одна жара. Ему было неловко в обществе фрестельнов. Потребна была неделя-другая, чтобы нарушившиеся отношения пришли в старый порядок. В их ухудшении он меньше всего винил Маргариту Оттоновну. Он признавал, что если бы даже он был ей приемным сыном, а спуск и потворство ему во всем – главной ее обязанностью, то и в таком случае ей было от чего прийти в отчаянье в недавней предотъездной суматохе.

После свежего ночного выговора он изволил пропасть на весь канун отъезда, когда заведомо знал, какой содом подымается в хозяйстве с самых спозаранок.

– Шторы, – неожиданно взвизгивал кто-нибудь, и из кусков рогожи чудесно складывался, совершенно как живой, Егор, – шторы, вот наказание!

– Чего – шторы?

– Чаво – шторы, рыло! Таким, по-твоему, и висеть?

– А что им сделается?

– А ты их выколачивал?

– Лаврентий, чтоб тебя намочило, отстань, дьявол!

– Варя, дорогая, вы, знаете ли, не на гуляньи.

«...Но, в конце концов, черт с ней. Арильд так Арильд. Жаль, конечно, беднягу: дрянная женщина и интриганка, но что поделаешь, раз нашла коса на камень. Однако тогда и разговор другой, если на то пошло, и все на свете можно делать по-человечески. Поезд с Брянского пять сорок пять, проводил – и баста. И так, чтобы дома ни одна душа по тебе не сказала, где ты был и что потерял. Напротив, всякий подумает: вот истинный мужчина, вот порядочный, уважающий себя человек. Но, видно, это отсталость, и теперь все по-другому. Запереться ему, видите ли, надо с проводов, и его не смущает, что все по часам будут наблюдать, как он

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
там... осваивается и привыкает. Ну что тут делать? Рассчитать его?..»
– Не замайте, барыня, вы не так, я сама подоткну, только вот – о, чтоб тебя, дьявол, гниль какая! Второй лопнул, я говорила – веревкой.
«...Но как его считаешь, когда кругом такая горячка и совершенно ясно из происшедшего, что теперь ему заработок не в забаву. Но, позвольте, позвольте, тогда и должность не баловство, и ею надо дорожить. В извиненье ему можно сказать, что существует новое декадентское выражение „переживать“. Однако и переживать, то есть выставлять свои секреты для внешнего обозрения, вероятно, можно по-человечески, между тем как на другое утро это совершенно неузнаваемый, ни на что не пригодный человек, Христос Христом, сама пассивность: предложи всерьез – головой будет ящики заколачивать; а увы, никак не это требуется в хозяйстве, и не с такою целью держат воспитателя в порядочной семье... И вот они едут, и он с ними. Зачем же он с ними? А как его считать? Между прочим, в Туле они опоздали к пассажирскому, с которым был согласован московский поезд, и в окно вагона с ужасом увидели, как побежал он вбок от них по встречному калужскому направлению. Эта ночь была ужасна... Зато их вознаградили за десятичасовую муку. С час тому назад мимо Тулы по Сызрано-Вяземской железной дороге прошел этот дальний, и они в нем разместились с комфортом, которого не могла дать ночная пересадка. Антон Карлович и Гарри спят, хотя через двадцать минут их придется поднять, бедняжек».
Обер-кондуктору был вагон по душе, и он то и дело в него наведывался. Виды же поистине попадались изумительные. Вот хотя бы в настоящую минуту, когда, застыв на всем разное, грязный и громкий поезд плыл и как бы покоился на широко заведенной дуге из крутого и жаркого песку, а против насыпи, далеко за поймами, на чуть вздрагивавшем пригорке плыла и как бы покоилась большая кудрявая усадьба. Когда б не пятнадцать верст предстоящего пути, можно было бы подумать, что это Рухлово: так походила на все слышанное белые проблески барского дома и ограда парка, помятая неровностями косогора, на который она как бы была целиком положена, как снятое с шеи ожерелье. В парке было много серебристых тополей.
«Дорогие!» – прошептал Сережа и, зажмурившись, подставил волосы под прыжки встречного ветра.
Итак, вот для какой надобности существует у людей слово «счастье». Хотя и это были одни беседы, и он только делил ее хлопоты и снаряжал в дорогу... хотя и у них будет другая, полная близость... но ближе, чем в эти незабвенные десять часов, им больше никогда не стать. Все на свете понято, больше нечего понимать. Остается жить, то есть рассекать руками пониманье и пропадать в нем; остается нравиться ему, как оно нравится им, раскинутое кругом, с железными дорогами, проведенными по его лицу и срокам. Какое счастье!
Но какая случайность, что она заговорила о родне! Как легко могло этого не случиться. Мерзавцы, много они понимают, что роняет, что возвышает род. Но о ее несчастном отце как-нибудь в другой раз (поразительный случай!). Теперь понятно, откуда у ней такие знанья, так что она кажется старше себя вдвое и вдесятеро холостее. Все это у нее по наследственности. Вот почему она так спокойно всем этим владеет. Еще бы она стала себе удивляться и добиваться за свои дары шумного имени. Оно и так у нее было в девичестве, и – прегромкое.
Ее предки были выходцами из Шотландии. За этими подробностями была упомянута Мария Стюарт. И теперь невозможно было отделаться от чувства, будто этого-то имени и недоставало все утро облачному Чернышевскому переулку.
Но вот строгий обер-кондуктор тронул оглохшего путешественника за талию и предупредил, что ему и его соседям по купе слезать на следующей остановке. Так передвигались люди тем последним по счету летом, когда еще жизнь по видимости обращалась к отдельным и любить что бы то ни было на свете было легче и свойственнее, чем ненавидеть.

Сережа потянулся, заворочался и пошел зевать без отступу, раз от разу все неистойей. Вдруг это прекратилось. Он проворно приподнялся на локте и с трезвой быстротой осмотрелся кругом. На полу пролитую лужей стоял отсвет дворового фонаря. «Зима, – сразу сообразил он, – и это первый сон у Наташи в Усолье». Никто, по счастью, не подсмотрел его полуживотного пробужденья. И – ах! – да ведь вот что, как бы не забыть. Ему снилось нечто бесформенное и такое, что и сейчас еще голову ломит. Всего замечательнее, что у этой чепухи было прозвище, пока он ее видел. Это – Лемох, но поди доищись в этом смысла. Одно несомненно: надо встать, и аппетит у него волчий, если только он не проспал гостей. Через минуту он уже тонул в байковых, отдававших йодоформом зятниных объятиях. У того в кулаке осталась подковырка для вскрыванья консервов, и он бросился к Сереже с рукой, отведенной наотлет. Это, вместе с торчавшей из кармана слуховой трубкой, несколько испортило сладость лобзаний, как материализовавшаяся на ощупь искренность. И раскупорка консервов не могла возобновиться с прежним

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru
совершенством и захромала. Поперек коробок посыпались распросы, отрывистые и деланно простекие. Сережа стоял, радовался и недоумевал, зачем дурака ломать, когда можно им быть по-природному, не стараясь. Они не любили друг друга. На столе чистым строем стояли бодрые, вполне выпавшиеся водочные рюмки. И сложный ассортимент духовых и ударных закусок радовал глаз. Над ними по-капельмейстерски высились черные винные бутылки и каждую минуту готовы были грянуть и отмахать оглушительное вступленье ко всяческому хохотам и каламбурам. Зрелище было тем внушительнее, что по всей России продажа вина была запрещена, завод же, как видно, жил автономною республикою. Было уже поздно, и детей обещали показать в кроватках. Вообще вся комната точно плавала в коньяке. От освещения ли это или от подбора мебели, но казалось, будто и полы натерты не воском, а канифолью, и нога, скользя, нащупывала под собой не заощенные расщепины, а склеившийся и как бы нафабранный волос. Жаркой желтизной обстановки («Карельская береза, ты что думаешь?» – зачем-то соврал калязин) было, как лимонною настойкою, налило все, что обладало гранями и было способно играть. Сережа обладал этими способностями. По его расчетам, пронзительно освещенный дом должен был казаться медвежьей сине-белой ночи чем-то вроде крошечной, полной угольков конфорки, вздутой среди сугробов.

– Ага, подморозило! Очень рад, – сказал он, став за полу гардины и вглядываясь во мрак.

– М-да, скрепило, – рассеянно промычал зять, протирая платком заянтаренные соусами пальцы.

– А то у меня сапог нет; я не привез, не догадался купить.

– Дело поправимое, здесь заведешь. Но о чем мы, помилуй, тут моносказать, человек из самого, моносказать... Нельма, сибирская рыба. И максун. Слыхал ли ты, брат, про таких? Нет? Ну вот, я и сам знал, что не слыхал.

Сереже становилось все веселее, и неизвестно, какой бы выходкой это у него кончилось. В это время из коридора прикатился смутный смешанный топот ног. Там раздевались. Скоро в столовую, и все с воздуха, румяные, вошли: Наташа, незнакомая Сереже девушка и сухой, определенный и очень быстрый человек, к которому Сережа и бросился вперед калязина и поздоровался крупно, радостно и почти испуганно. Вся веселость с него слетела. Во-первых, он знал этого человека, и, кроме того, перед ним стояло нечто высокое, чуждое и всего Сережу с головы до ног обесценивавшее. Это был мужской дух факта, самый скромный и самый страшный из духов.

– Брат ваш как? – смущенно начал Сережа и запнулся.

– Жив пока, – отвечал Лемох, – ранен в ногу, у меня на поправке. Я, верно, его у себя устрою. Рад встрече. Здравствуйте, Павел Павлович.

– Представьте себе, – еще растеряннее замямлил Сережа, – может, он это скрывал по долгу службы, но никто не знал, что это мобилизация. Все думали – маневры. Виноват, я не знаю, как называются эти учебные передвиженья. Во всяком случае, думали, что это что-то примерное. А это их уже гнали на войну. Словом, позапрошлым летом в июле я с ним виделся. И оцените. Их часть шла на баржах мимо нас, они пристали на ночлег как раз близ имения, где я тогда служил воспитателем. Это было за два дня до объявления войны. Мы только потом это раскусили. Вы поняли?

– Да, я знаю про ваш разговор, брат рассказывал.

И Сережа только не сознался, что и в ту ночную встречу постеснялся спросить у вольноопределяющегося, как его фамилия.

1929

Примечания

1 Мы будем друзьями, я уверена (англ.).

2 Не Суворов, другой (англ.).

3 Поминутно забываю (англ.).

4 Ужасно! Не повторить. Как вы это произносите? (англ.)

5 Название одной из фортепьянных пьес Шумана.

6 Это вы, друг? (англ.)

7 Вы не осмелитесь... (англ.)

Повесть. Борис Леонидович Пастернак pasternakboris.ru

8 Подойдите, я не хотела вас обидеть (англ.).

9 Я это допускаю в отношении прислуги, но что думать, когда... (фр.)

10 Разве я поверенная ее тайн? (фр.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://pasternakboris.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!